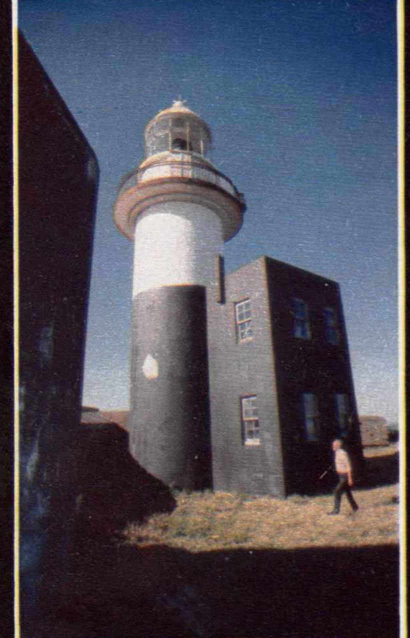
ISSN 0131—0097

ОГОНЁК

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», МОСКВА
№ 44 ОКТЯБРЬ 1989

НА ВЕСАХ СОВЕСТИ



НА ПОЛПУТИ К ГРАНИЦЕ

РАССКАЗ ЕВГЕНИЯ ДОБРОВОЛЬСКОГО

МАЯКОВСКИЙ: ПИСЬМА О ЛЮБВИ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Основан 1 апреля 1923 года

№ 44 (3249)

28 ОКТЯБРЯ — 4 НОЯБРЯ

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:

Взаимопонимание? (См. в номере материал А. Нежного «Третий разговор».)

Фото Владимира СУМОВСКОГО

Оформление Н. П. КАЛУГИНА
при участии Г. Н. СИДОРОВОЙ

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ДО ПЕРВОГО ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО МЕСЯЦА.

Цена подписки на год — 20 руб. 76 коп., на полгода — 10 руб. 38 коп., на квартал — 5 руб. 19 коп.

УСЛОВИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРОКАТА, ПОДПИСКИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ ВЫПУСКОВ «ОГОНЕК-ВИДЕО» ПО ТЕЛЕФОНУ 212-15-79.

Сдано в набор 09.10.89. Подписано к печати 24.10.89. А 08924. Формат 70×108 1/8. Бумага для глубокой печати. Глубокая печать. Усл. печ. л. 6,3. Усл. кр.-отт. 14,35. Уч.-изд. л. 11,55. Тираж 3 300 000 экз. Заказ № 1299. Цена 40 копеек.

Адрес редакции: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.

Телефоны редакции: Для справок: 212-23-27; Отделы: Публицистики — 250-46-90; Международный — 212-30-03; Литературы — 212-63-69; Искусства — 212-15-59; Морали и писем — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Секретариат — 250-46-98; Литературных приложений — 212-22-13, 212-23-07.

Телефакс (095) 943-00-70
Телетайп 112349 «Огонек»

Рукописи объемом более двух авторских листов не рассматриваются.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

МЕДЛЕННЫМ Ш

ПРОШУ СЛОВА

Фото Сергея ПЕТРУХИНА

АГОМ,

РОБКИМ ЗИГЗАГОМ...

Наконец-то у перестройки появился официальный противник... Я много читал и слышал о нем, но, как и большинство советских граждан, ни разу не видел воочию. Для меня лично он представляется чем-то вроде американского доллара: знаю, что существуют такие деньги, на которые можно купить все что угодно, да вот в руках держать их ни разу не доводилось. То же примерно и с этим самым противником: вот уже пятый год подряд власти предержащие списывают на него все беды перестройки, однако фамилии назвать почему-то не решаются.

Спасибо секретарю парткома моего объединения «Ленполиграфмаш» М. Михайлову и первому секретарю Петроградского РК КПСС Ю. Ракову — внесли ясность. Посоветовавшись, они порекомендовали на эту незавидную должность меня. В связи с чем и предложили второй раз подряд за последние три года покинуть ряды КПСС.

Не буду поминать всех чертей, которых на меня навешали, но попробую разобраться: чем же я так ухитрился насолить Родине и ее общепризнанному авангарду?

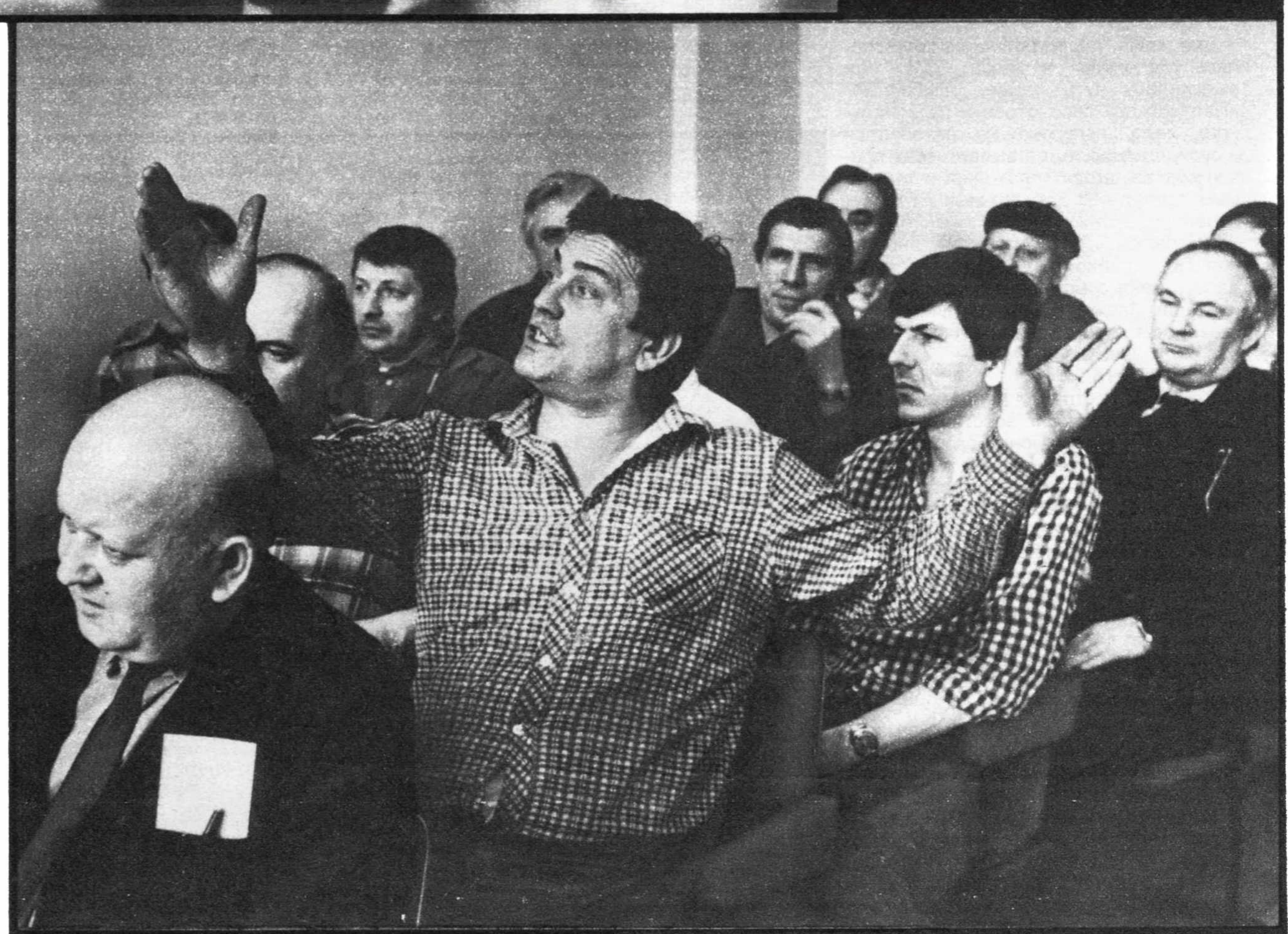
Ведь долгие годы никаких разногласий между нами вроде не наблюдалось. Более того, за свой «ударный труд», как называли его газеты, я был обласкан всякого рода наградами и даже удостоен звания лауреата Государственной премии СССР.

Не скрою, и награды, и лауреатство воспринимал как должное, хоть и без подобающего благодарственного восторга. Работать я люблю, умею и горжусь тем, что задания четырех последних пятилеток подряд выполнял всегда досрочно, первым среди станочников страны: за 2 года 8 месяцев, 2 года 4 месяца, 2 года 21 день и 1 год 11 месяцев соответственно.

При этом я никогда не ставил целью погоню за безликими процентами. Мне было интересно знать, на что способен человек, какие неиспользованные резервы в нем таятся. И я не просто изобретал какие-то приспособления к станку, скорее конструировал сам себя, черпал резервы в собственной психологии, равно изучал и физиологию, и философию.

Но эти размышления привели и к другому результату: я задумался о том, кому же в первую очередь нужен труд ударников? Ответ вроде бы очевиден — народу, стране. Так, во всяком случае, нас воспитывали еще со времен Стаханова.

Ну, а если копнуть глубже, разобраться, скажем, в сути такой привычной, всесоюзной фикции, которая называется социалистическим соревнованием. Ведь сама идея подобной гонки перепроизводства противоестественна для любой нормально действующей экономики (на кой бес, к примеру, уродуясь, добывать сверхплановые тонны угля, которые потом годами не могут вывезти из-за отсутствия вагонов?). Равно аморален и культ нездорового соперничества, поскольку чистая спортивная радость естественного соревнования в мастерстве давно утрачена. В царстве кривых зеркал административно-командной системы тружеников погоняют то кнутом унижения и ущемления социальных прав отстающего,



то дешевеньким пряником мелких поблажек для передовиков (поощрение ничего не значащими званиями, обесцененными брежневской камарильей медальками, фиктивным представительством во всякого рода общественных организациях).

В целом же вся эта фальшивая псевдопатриотическая конструкция выгодна лишь аппарату, культивирующему вместо нормального, хорошо организованного так называемый «ударный труд» — как единственное средство для аварийного латания дыр во всех сферах нашего нищего бытия.

И вообще как же надо было управлять богатейшей, населенной талантливыми людьми страной, чтобы довести ее до такого состояния?

Поиски ответов на эти вопросы и привели меня к активной политической деятельности, что, естественно, не могло не отразиться на отношении к бывшему послушному «передовику» записных словоблудов и тех, кто привык спокойно дремать в тихом болоте узаконенного безделья. В моих действиях стали искать какой-то идеологический криминал, обвинять в индивидуализме, рвачестве и прочих высосанных из пальца грехах.

Оказывается, мало работать у станка одному за троих, при этом надо еще приплясывать и присвистывать так, чтобы заслужить одобрение парткома, решившего к тому же прославиться на весь социалистический мир изобретением какого-то нового, совсем уж заумного варианта соцсоревнования.

Ну, а если я не хочу играть в эти игры? Если я прихожу на завод работать, а не болтать, и у меня эти ужимки и прыжки бездельников, занятых только тем, чтобы как можно убедительнее оправдать свое безделье, ничего, кроме отвращения, не вызывают? Не буду, однако, оправдываться. Характер у меня тоже не сахар, а если учесть, что лентяев, шарлатанов и спекулянтов от марксизма-ленинизма терпеть не могу и скрывать этого не собираюсь, то все остальное нетрудно представить.

Вместо протоптанной дорожки в Герои Социалистического Труда понесло меня по буеракам конфликтов. И не то чтобы сам их искал, а так уж получилось: пока от станка головы не поднимал, всех устраивал, а когда выяснилось, что у меня, оказывается, еще и собственное мнение есть — стал неудобен.

Для меня перестройка ознаменовалась удалением из рядов КПСС. Как выяснилось чуть позже, ошибочным. «Партком при рассмотрении персонального дела... глубоко не разобрался в сути конфликта, не выявил всех причин создавшегося положения и тем самым принял без достаточных на то оснований решение о выбытии Богомолова из партии». Это строки постановления бюро райкома. А в итоге получилась у меня с молодым да ранним секретарем нашего парткома М. Михайловым ничья: мне влепили строгий выговор с занесением, ему — строгача обыкновенного.

Случайно пострадал человек. Ну, кто бы и когда стал меня восстанавливать, если бы не конъюнктура момента! Представьте только: разгар перестройки, все кругом клянутся интересами народа, рабочего класса, и вдруг гегемону, да еще удостоенному звания лауреата Государственной премии СССР, предлагают выйти вон из рядов. Явная политическая близорукость, которую старшие, более опытные в придворной дипломатии товарищи и поспешили исправить. Справедливо полагая, что голову мне оттяпать всегда успеют.

И, естественно, оттяпали. Как только ветер чуть переменился и Москва вроде стала уже не указ, а демократию в Ленинграде научились отличать от вседозволенности.

На сей раз меня приговорили за действия, якобы не совместимые с Уставом партии, как-то: агитацию за многопартийную систему, против пресловутой 6-й статьи Конституции СССР, за активное участие в Народном фронте (вывешивал листовки, оформил стенд на заводе, публичное высказывание недовольства партийным руководством города и, наконец, за то, что я выдвинул свою кандидатуру на минувших выборах, не получив благословения парткома). Неплохой набор, не правда ли? А чтобы придать всему этому видимость народного волеизъявления, утопить меня решили руками моих же товарищей. Да не тут-то было. На цеховом собрании за исключение проголосовали лишь четверо из пятидесяти с лишним человек. На парткоме завода — 11 за исключение, 10 — против, то есть положенных двух третей набрать не удалось. И тем не менее райком был неумолим.

Вот вам и вся нынешняя демократия в действии. Так стоит ли удивляться тому, скажем, что я решительно не воспринимаю многих нынешних ленинградских партийных лидеров? Доверия у меня, как, уверен, и у большинства других коммунистов города, к ним ни на грош. По элементарной причине: мы их не выбирали, не знаем, что они за люди, но каждый день уже много лет воочию убеждаемся, к чему приводит их «идеологическое обеспечение» жизни на глазах хиреющего города. Я не сторонник западных образцов, но убежден, что любой кандидат — от первичной организации до Генерального секретаря, коли уж собрался претендовать на руководство, обязан сначала доказать людям, что он достоин их доверия, обязан добиться признания и популярности. Избираться он должен напрямую, без всяких назначений, закулисных манипуляций, неизбежных при нынешней многоступенчатой выборной системе. Так что мое неприятие — это неприятие не малознакомых (и, быть может, неплохих, кто их знает!) людей, а протест против навязанной всем коммунистам страны недемократической системы «выбора», которая непременно приведет нас к новому диктату.

Такой вот, начинающий и подающий большие надежды у нас на заводе. Имею в виду секретаря парткома Михаила Кирилловича Михайлова. Ладно, учинил беззаконие со мной, все-таки черная кость, работяга, какие от меня неприятности. Редакция заводской многотиражки — противник посерьезнее. А он и ее к ногтю — разогнал. Разогнал за то, что вздумала вести себя, как «Московские новости»: печатать о нашей жизни правду. Не выдумывала угодные парткому абстракции, а реально отражала все сложности и противоречия, от которых не спрячешься под крылышко удобных, годами обкатанных догм. Читатели газету любили, сотни подписей собрали в ее защиту, да только кого они интересуют, если сам глава предприятия Александр Дмитриевич Долбежкин в разгар конфликта заявил принародно, что с апреля нынешнего года он (!) прекращает финансировать «Трибуну машиностроителя».

Причем вот ведь что примечательно: неприглядную роль сыграл М. Михайлов и в драматической судьбе моего коллеги, известного социолога рабочего Андрея Николаевича Алексеева. Писалось об этом в центральных, партийных, замечу, изданиях, однако с него как с гуся вода. Потом вот история с первым моим исключением. Затем вызвавший всеобщий протест разгон редакции... Согласитесь, не случайный подбор фактов — совершенно четкая «партийная» позиция человека, которого и я, и остальные должны считать своим идейным руководителем. Возможно ли его уважать после этого? Ни в коей мере. Однако почти убежден, не пропадет Михаил Кириллович в этой жизни, ох не пропадет. Всплывет то ли в райкоме, то ли в райисполкоме, а может, куда и повыше скакнет, дайте только срок. Сейчас же остается лишь надеяться, что ленинградские журналисты, собравшиеся подать на него в суд, будут тверды в своей решимости, а судьи проявят подлинную принципиальность. Только в этом случае, быть может, документы нашего секретаря чуть подпортит строка, осложняющая ему движение вверх по чужим головам и судьбам.

А пока и он, и его команда пытаются «достать» меня. Особенно бесит их мое активное участие в деятельности Народного фронта. Складывается впечатление, что я вступил в какую-то подпольную контрреволюционную организацию, подмывающую устои и грозящую Отечеству неисчислимыми бедами.

И не смущают наших удельных князьков прозвучавшие с высоких трибун заявления о необходимости диалога с Народным фронтом, поскольку в рядах его присутствует немало членов партии, работающих здесь на благо перестройки.

Совсем иные эмоции вызывает у руководства Объединенный фронт трудящихся — организация самая что ни на есть благонадежная, освященная, в частности, присутствием в ее рядах первого секретаря Петроградского РК КПСС Ю. Ракова, являющегося там членом координационного совета. Оно бы и ничего, в Ленинграде сейчас действуют сотни неформальных организаций, и я не вижу никакого основания предпочитать или противопоставлять одну другой. Каждый человек волен избирать себе фронт, центр, общество, ассоциацию и т. д. по своему собственному вкусу. Ну, а наступит час предвыборной борьбы, там уж не обессудьте, решать будет народ. В том, разумеется, случае, если его не лишат права голоса, загнав в силки всякого рода окружных собраний и тому подобных конструкций, позволяющих властям в нынешней ситуации безнаказанно нарушать Конституцию, творить произвол в процессе выборов, формируя состав депутатского корпуса к своей выгоде по сталинско-брежневскому образцу.

Из числа такого рода ухищрений и предложение Объединенного фронта трудящихся голосовать за заводскими заборами, предрешая, по сути, исход волеизъявления путем несложных комбинаций начальства с послушными или трусливыми представителями рабочего класса, из тех, для которых до сих пор верхом блаженства остаются мелкие подачки со стола правящей партократии.

Ох, как не хочется ей расставаться с реальной властью, лишаться права казнить и миловать по собственному усмотрению! Но в какие бы одежки ни рядились радетели чистоты марксизма, ни для кого уже не секрет, что интерес они преследуют сугубо шкурный. И Маркс, и Ленин для них всего лишь верстовые столбы на пути собственной карьеры, а цитаты из трудов классиков — лишь костыли, которыми они подпирают собственные алчные и куцые мыслишки.

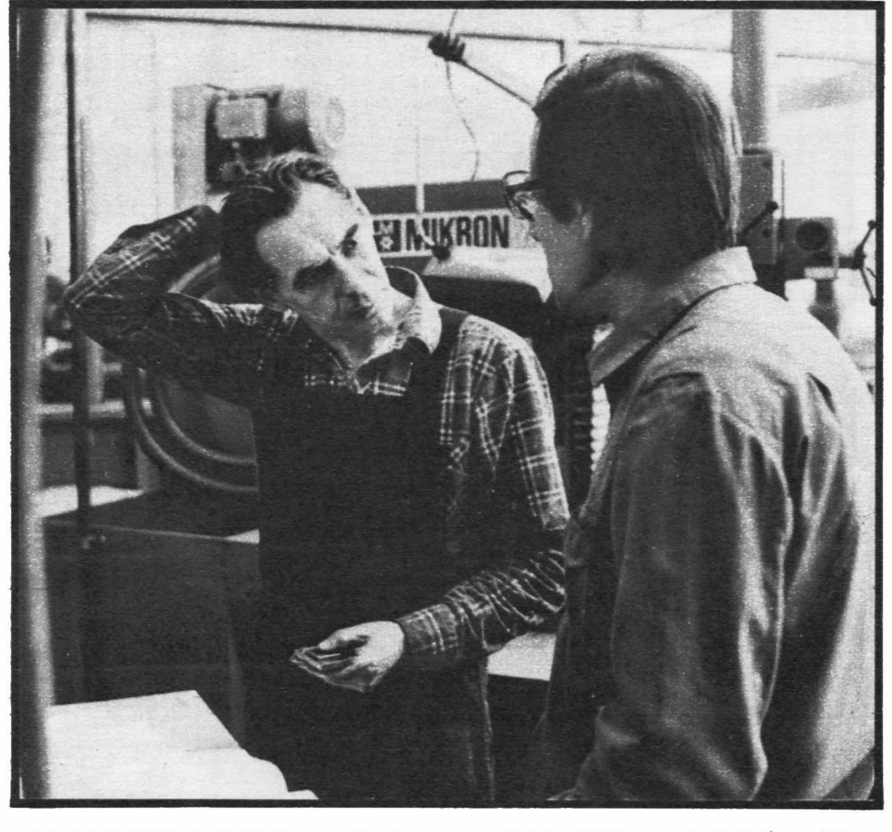
Да, я не верил и не верю большинству из тех, кто ловко пристроился к кормилу власти. Но расхождения мои с ними не на идеологическом, а на бытовом уровне. Можно заглазно любить народ и быть в курсе его трудностей, годами обещая предпринять что-либо для их ликвидации. Но совсем другое — самому ткнуться мордой в эту жизнь, в грязь наших больниц, голодуху пустых магазинов, хамство, трусость и цинизм мелкой служивой сошки.

Для тех, кто наверху, перестройка может тянуться годами, она не грозит им абсолютно ничем и почти ничего не отняла. Даже разоблачение, позор заканчиваются для многих, увы, не судом, а увесистой пенсией либо тепленьким местечком в руководстве какой-нибудь совместной фирмы, где половину зарплаты дают теми деньгами, на которые действительно что-то можно купить.

Перестройка позарез необходима нам — живущим на земле. Необходима мне — фрезеровщику, моим товарищам по труду, необходима моим соратникам по Народному фронту — инженерам, ученым, представителям творческой интеллигенции.

Первая попытка взять власть в руки народа была удачной лишь частично; каждый может судить об этом по составу, деятельности нынешнего Верховного Совета. Но опыт не пропал даром. И я лично сделаю все от меня зависящее, чтобы второй блин не вышел комом, чтобы к власти — в Советы всех уровней — пришли честные, справедливые и знающие люди.

Ну, а свой партийный билет я не сдал. И по-прежнему считаю себя членом Коммунистической партии, в которой состоят многие честные коммунисты. Жду, очень жду Съезда. Для КПСС, если она надеется на доверие, поддержку народа, это будет последний экзамен.



Г. БОГОМОЛОВ,
фрезеровщик, коммунист,
лауреат
Государственной премии СССР
Ленинград

Без суда и следствия...

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Под таким заголовком в 38-м номере «Огонька» был опубликован мой судебный очерк, в котором рассказывалось о трагической судьбе передового управляющего трестом общепита Николая Павловича Лобжанидзе, репрессированного в 1983 году судебно-следственными органами.

И пошли в редакцию письма, полетели десятки телеграмм. Откликнулись и читатели, хорошо знавшие Николая Павловича по работе. Телеграфировали целые коллективы общепита Ессентуков, Кисловодска:

«О том, что наш Палыч честен, знали только мы — теперь знает вся страна тчк Коллектив Ессентукского треста»; «Ждали этого момента 6 лет зпт писали всюду тчк «Огонек» первый кто откликнулся на нашу беду тчк Спасибо тчк Коллектив Кисловодского треста»...

Телеграмм — ворох, и он продолжает расти. Незаконнорожденное уголовное дело истребовал Верховный суд РСФСР для рассмотрения на предмет принесения протеста, а Председатель Верховного суда республики Вячеслав Михайлович Лебедев заверил редакцию, что примет решение в соответствии с Законом. Дело спокойно изучалось специалистами, как вдруг в газете «Правда» 20 октября сего года неожиданно появляется статья В. Локтева «Защита... с пристрастием», где, как и в истории с И. Хинтом, опережая решение суда республики, автор критикует позицию «Огонька». И это, увы, не первый случай. Позже газета извинилась, но не перед самим «Огоньком».

Здесь я не буду цитировать эмоциональные строки авторов, возмущенных статьей в газете «Правда»,— лучше последую мудрому совету правдиста В. Локтева: «с предельным тактом, опираясь на документы, не искажая фактов», попробую докопаться до истины. «На мой взгляд,— пишет негодующий правдист,— М. Корчагин пренебрег этим элементарным, даже с точки зрения журналистской этики, правилом». Исходя из совета, давайте посмотрим, как с упомянутым правилом обстоят дела у самого советчика, написавшего заметку исключительно **«ради истины»...**

В поисках истины В. Локтев и увлекся описанной мною сценой обыска, который не дал результата. Пудовых кубышек с миллионными драгоценностями, к великому сожалению «кладоискателей», не оказалось. Но и пустыми покидать обшаренный дом не хотелось. Тогда «искатели сокровищ» и взялись паковать весь скарб, нажитый десятилетиями. Еще не было законного решения суда, не выяснилось, каким путем нажито имущество и что отошло по наследству от отца и родителей жены.

«По М. Корчагину,— подытоживает автор «Правды»,— обыск не дал результатов. Поразительный вывод!.. Бытовую мелочь — щипчики, вилку — узрел, а **«слона»** не заметил». Хотя этого самого «слона» я как раз-таки и приметил. А приметив, естественно, повел бы о нем речь, если бы не следующее обстоятельство...

Дело в том, что, выводя на чистую воду «Палыча», Локтев буквально поражает доверчивого читателя суммами, о которых умолчал я. А цифры действительно впечатляли. Чего, например, стоила цена самого дома: **«60 736 руб.»** Возможно ли на скромные трудовые выстроить этакое, рассудит любой читатель. И я в чем-то согласился бы с В. Локтевым, если бы не один документ. Это заверенная печатью справка № 626, выданная Кисловодским бюро инвентаризации, где черным по белому написано:

«Стоимость домовладения в ценах 1976 года — 11 430 рублей».

Иными словами, на момент новоселья (год 1970-й, когда Николай Павлович даже не был управляющим.— **М. К.**) при низких ценах на стройматериалы дом стоил **11 430** рублей. Любитель же «истины» В. Локтев намеренно, на мой взгляд, употребляет цены 1983 года — дабы создалась видимость, что жил не по средствам. И это без учета того, что отцовский дом был продан перед строительством за 19 000.

Впрочем, «гвоздем» статьи в «Правде» была другая, повергшая читательскую аудиторию в шок, цифра: «104 857 рублей 20 коп.». Имеется в виду общая сумма «изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней». Столь солидная сумма, признаться, смущала и меня самого. Но до тех самых пор, пока не обнаружил в уголовном деле № 18/58122-83 протокол обыска, из которого-то и понял, на каких «дрожжах» рос «локтевский» «слон». Механизм лжи столь же прост, что и в случае с «крамольным» домом: берется, к примеру, набор серебряных креманок (6 шт.), стоивший в год покупки (а он был указан на ценнике — 1966-й.— *М. К.*) **200** рублей, и оценивается по ценам 1983 года. В итоге появляется солидная сумма — **2380** рублей. То же самое проделывают и с подаренным на новоселье серебряным набором из 6 ложек **(85** руб.), оценивая его в **859** рублей: свадебному же подарку «ситечко для чая» **(18** руб.) намеренно ставят цену **181** рубль. Так же обошлись и со старинными фамильными драгоценностями, подарками с конкретной гравировкой на них же. Приписали даже суммы страхования на детей. Не обошли вниманием и женскую цепочку 1879 года, купленную еще прабабушкой и перешедшую жене по наследству от мамы. Вещь оценили ни больше ни меньше, а суммой в 3690 рублей. Именно таким образом оценивали все вещи, не обращая никакого внимания ни на имевшиеся в наличии **ценники,** ни на **годы,** когда покупались или дарились вещи. Так и зародилась та астрономическая сумма: «104 857 рублей», столь поразившая несведущего читателя. На самом же деле, если собрать воедино реальные цены на все вещи, то, включая наследство, приданое жены, бытовое серебро и именные подарки, сумма составит 22 220 рублей 55 копеек. Хотя и наследство, и бытовое серебро, и именные подарки включать в эту сумму не имели права.

Впрочем, до закона ли было следствию, которое из кожи лезло вон, лишь бы выставить управляющего хапугой и, естественно, сформировать у судьи внутреннее убеждение не в пользу подсудимого. Ведь прекрасно знало оно о той нашумевшей грузинской свадьбе 1959 года, на которой грузинская родня одними только деньгами собрала для молодоженов 22 500 рублей. Таков уж кавказский обычай. Но и это не учло следствие, как, впрочем, и то, что отец Лобжанидзе приехал из Средней Азии с большим, заработанным, капиталом и был состоятельным хозяином, имел собственное подворье, являясь заведующим производством в общепите, а не «простым поваром», как пишет В. Локтев.

И в чем только не искал автор «Правды» компромат, дабы выставить героя «Огонька» в невыгодном свете, явно перестаравшись в своих потугах. К астрономическим, нереальным, суммам приплюсовывает он и «нажитый десятилетиями скарб». Бесцеремонно копаясь в последнем, не обошел он своим вниманием и «большое количество фототехники» (это два-то фотоаппарата?), и «три холодильника» (два из них ржавых, сломанных и приготовленных на выброс), и 2 телевизора (один не работал, а просто занимал место). Негодует В. Локтев и по поводу мебельных гарнитуров, без которых, по-моему, не живет сегодня ни одна советская семья.

Иными словами, «слон», которого «не приметил» «Огонек», оказался раздутым из «мухи». Прекрасно представляю себе, в каком неловком положении оказался «Огонек», опубликовав те липовые цифры, чем ввел бы в заблуждение **своего** многомиллионного читателя. Именно это и сделал любитель «истины» В. Локтев, затуманив головы своих читателей, число которых, к сожалению, катастрофически падает как раз в результате подобных публикаций.

Я не буду далее утомлять читателя точными цифрами — они имеются у меня **в несметном** количестве. Напомню лучше о тех вдохновенных локтевских строках про «журналистскую этику» и «элементарном правиле», которым пренебрег ваш покорный слуга, «искажая факты» и «суть дела». Если в данном случае автор имеет в виду «дело» уголовное (№ 18/58122-83), то, прежде чем браться за перо, именно его-то я и изучил. Все двадцать два тома **(несколько тысяч листов).** Чем же руководствовался автор из «Правды»? Судя по статье и его же письменному заверению, в основном одним обвинительным заключением (79 листов), которое и продублировал в газете В. Локтев.

Но этично ли сегодня, когда на дворе не 30-е годы, а конец 80-х, уподобляясь следователю, придерживаться обвинительного уклона? Этично ли писать о человеке с искалеченной судьбой, даже не встретившись, не переговорив с ним (я уж не говорю о себе — авторе раскритикованного очерка)? Беседовал ли он с теми **ста семнадцатью свидетелями?** Зато с ними подробно беседовал я в городах: Ставрополе, Кисловодске, Ессентуках, Владимире, Пятигорске, Минводах, Москве.

И этичным ли считается в «Правде» выслушивать лишь одну сторону — сторону обвинения? Ведь выслушав другую, уверяю, не ошибся бы автор «Правды». А что стоило ему посетить хотя бы тот же Кисловодск? Тогда бы лично, а не со слов следователя убедился, что по адресу: «Ольховская, 34» стоит не сказочный «двухэтажный каменный особняк» площадью «190,8 м^2», а обычный полутораэтажный кирпичный дом жилой площадью 68 м^2.

— Так кто же нарушает журналистскую этику?..— спросил я у правдиста В. Локтева, встретившись с ним, дабы не нарушать этику, за которую он так ратует. Затянувшейся была та пауза после заданного в лоб вопроса, а ответ столь расплывчат, что лучше не буду его цитировать.

Лучше специально для того же Локтева процитирую взятые из обвинительного приговора строки, которые самым странным образом «не заметил» он, хотя, по его же утверждениям, «ознакомился и с документами судебного разбирательства»: «Лобжанидзе многое сделал для развития системы общественного питания в городах-курортах Ессентуки и Кисловодск, принимал меры к поддержанию высокого уровня обслуживания руководимыми им предприятиями жителей и гостей этих городов»...

Лучшей характеристики и не придумаешь. Впрочем, не менее лестный и объективный отзыв дала в свое время сама же газета «Правда» в статье «Арифметика гостеприимства», полностью посвященной «потомственному повару, специалисту высокого класса Николаю Павловичу Лобжанидзе», возглавившему Ессентукский трест общепита. Вот некоторые из строк, которые явно будут не по душе самому Локтеву:

«На новом месте Лобжанидзе начал с решительного запрета «враз-нос»... приказал снести «питейные» павильончики. Облегченно вздохнули сотрудники милиции — меньше стало в городе пьяных, обрадовались работники санэпидстанции: ликвидированы очаги антисанитарии... Резко улучшились в Ессентуках качество и ассортимент продукции рабочих столовых и буфетов в школах... В небольшой курортный город сегодня приезжают за опытом из Сибири и с Украины, из Заполярья и Средней Азии...».

Чего стоило, например, коллеге в поисках той же «истины» не идти по дорожке, протоптанной следствием, а заглянуть в само уголовное дело. Вряд ли написал бы тогда коллега, что, злоупотребляя служебным положением, «Палыч» «нарушил правила торговли» и «организовал торговлю дефицитными продуктами со **складов** треста». В 22-м томе на листе дела № 32, к своему удивлению, обнаружил бы он решение горсовета № 404 **«О временном порядке организации торговли дефицитными товарами»,** согласно которому тресту была разрешена **«реализация продовольственных товаров, в т. ч. деликатесов со склада треста, по заявкам инвалидов и участников ВОВ, новобрачных, профсоюзных организаций, ведущих строительство особо важных объектов, без ущерба снабжения предприятий общественного питания».** Согласно этому-то решению, **без ущерба,** и проводилась торговля. А о «корысти» управляющего здесь не могло быть речи.

И не только об этом узнал бы правдист, сойди он с той удобной тропинки, указанной ему следователями Громовым и Сашиным. Узнал бы он и о профессиональной «этике» следователя Сашина, который незаконными методами, с помощью обмана, получил от старшего брата Николая Павловича крайне нужные для следствия лжепоказания. И в совершенно другом свете предстали бы перед ним как обвинительное, полное лжи, заключение, так и сам его составитель — «профессионал высокого класса» С. М. Громов, который прочитал бы подписанное следователем письмо, в результате которого пришлось уволиться с работы жене подследственного. В конечном итоге, считаю, пострадала из-за отца и дочь, исключенная из Ставропольского мединститута.

А побеседуй коллега хотя бы со мной, то узнал бы, пожалуй, о самом главном — причине возбуждения уголовного дела по Н. П. Лобжанидзе, работавшему с 1974 по 1983 год в Ставропольском крае. Локтеву непременно была бы представлена запись беседы со следователем Сашиным, недвусмысленно заявившим следующее:

— Лобжанидзе нам нужен не был. Нам он был нужен только для того, чтобы иметь показания о даче взяток И. И. Сезину (директор спецбазы № 208, обслуживающей спецмагазины ЦК КПСС и членов правительства.— *М. К.*). Если бы он дал такие показания, то мы бы арестовали Сезина... А уж дальше...

Хотя далеко не одно такое свидетельство хранится в моем редакционном сейфе. Все это свидетельства обвинительного уклона следствия, которое не прочь бы завести дело на пустом месте — лишь бы шуму побольше, да дело погромче...

* * *

Следователи, за которых так ратует В. Локтев,— следователи старого типа, из тех времен, когда обвинительные заключения без оглядки переписывались в приговор. Именно тогда мы и мечтать не могли о правовом государстве, строящемся сегодня. И пусть некоторые из них покидают сегодня кабинеты прокуратур (в юридический кооператив ушел Сашин, на пенсию готовится Громов), остаются тома их незаконнорожденных уголовных дел, некогда легших в фундамент судебной системы, на котором немыслимо строительство истинно правового государства.

Михаил КОРЧАГИН

«ПОЧТА «ОГОНЬКА»

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЦСПС С. А. ШАЛАЕВУ

Уважаемый Степан Алексеевич!

Наверное, мне следовало обратиться к Вам раньше, сразу же после пленума ВЦСПС, который проходил полтора месяца тому назад. Но говорить хотелось с цифрами в руках, а чтобы получить их, потребовалось время. Скажу сразу: кооператоры Москвы, которых я представляю, с большим интересом следили за ходом пленума и с особым вниманием вчитывались в Ваш доклад. Наш интерес понятен: прежде мы лишь чувствовали, как общественная атмосфера пропитывается недовольством. Противники у кооперации были с самого начала. Но поскольку правительство заявляло, что оно всемерно поддерживает кооперативное движение, борьба с этим движением велась скрытым, партизанским, если можно сказать, способом. Приходилось изощряться — ну, например, как расистам в США. Там, я слышал, разжигание национальной розни карается смертной казнью. Поэтому, желая дискредитировать негритянское население, используют такой, например, прием. Скажем, украдет шубу белый — говорят, что украл Джон Смит. Попадется черный — скажут, что украл негр. Так и у нас с кооперативами. Согрешил человек, но если он кооператор — обязательно будет сделан акцент именно на это обстоятельство.

Профсоюзные лидеры, вступив на арену борьбы с кооператорами, от таких изощрений отказались. Зачем они? Ваш единомышленник и коллега по руководящей профсоюзной работе, председатель МГСПС В. П. Щербаков, выступая на Съезде народных депутатов, с большевистской прямотой утверждал, что деятельность кооператоров «усугубляет товарный дефицит, опустошает полки магазинов, усиливает коррупцию, взяточничество, спекуляцию, рост организованной преступности». Как должен был реагировать народ на портрет такого чудовища? Так и реагировал, как было рассчитано.

Все правильно, грехи у кооперации есть. Но может ли у мамы, больной СПИДом, родиться здоровый ребенок? Так и наша хозяйственно-политическая система вряд ли была способна произвести на свет идеальное дитя. Вы всерьез убеждены, что именно кооперация повинна в пустых прилавках магазинов? Та самая кооперация, на долю которой приходится всего один процент производимой в стране продукции? И в том, что именно мы растлили молодежь, рост преступности которой сейчас наблюдаем? А может, кооператоры сегодня самая удобная мишень для тех, кто ищет ответа на извечный вопрос русского человека: кто виноват? Когда-то винили аристократов, потом интеллигентов, крестьян, космополитов, диссидентов, евреев и инородцев... Интересно, если бы нас, кооператоров, не было — кого бы Вы обвиняли?

Я ничуть не обижаюсь на людей, которым десятилетиями внушали, что быть богатым безнравственно, что торговать и воровать — это одно и то же, что просиживать на работе штаны, получая копейки,— достойное занятие для человека, а хорошо зарабатывать — стыдное. Люди психологически не были подготовлены к появлению кооперативов — какого же отношения можно было ждать? Но вы, профсоюзные лидеры, не решили ли вы, очнувшись на пятом году перестройки, сыграть на настроениях людей? Очень удобно, раздувая антикооперативные страсти, продемонстрировать народу заботу о его интересах и благополучии.

На подготовленное, подогретое общественное мнение Вы обрушили не голословные обвинения, но и цифры. Ссылаясь на данные МГСПС, Вы прямо сказали на пленуме, что только за семь месяцев текущего года из банков города московские кооперативы изъяли со своих счетов 1 млрд. 602 миллиона рублей, а возвратили лишь 58,5 миллиона рублей. Как должны были люди понимать эти цифры? Однозначно. Изъяли много, вернули мало, значит, разница осела в карманах кооператоров. (Кстати, Московский союз кооперативов на некоторых предприятиях провел опрос — именно так люди и поняли: полтора миллиарда рублей кооператоры-таки умыкнули).

Теперь позвольте спросить, Степан Алексеевич, что Вы имели в виду, говоря об «изъятии денег кооператорами со своих счетов»? Признаюсь, мы думали-гадали, да так и не поняли. Если со своих счетов, то почему изъяли? Если счета свои, значит, эти деньги принадлежат кооператорам? И что означает сумма изъятого? Если Вы имели в виду выручку московских кооператоров за семь месяцев, то Ваша цифра, простите, не верна. В действительности она почти на миллиард больше и составляет 2 млрд. 522 миллиона 100 тысяч рублей. На хозяйственном языке эта цифра называется товарооборотом или доходом от реализации произведенных товаров и услуг.

Позвольте доставить Вам удовольствие, Степан Алексеевич: ведь это так приятно — посчитать чужие деньги в чужом кармане. Немножко арифметики, и Вы узнаете, по каким карманам кооператоры разложили изъятые из банков средства. Запомним цифру: два с половиной миллиарда.

Итак, начнем. 1 млрд. 107 млн. 300 тыс. рублей — это материальные затраты. Сырье и оборудование, отчисления в государственный соцстрах, плата различным сторонним организациям за услуги, без которых производство не может обойтись, расходы на транспорт и командировки, проценты за пользование кредитом, сюда же включаем суммы, отданные на благотворительные цели. Чтобы не утруждать Вас, постатейно каждую цифру не называю, при желании Вы сами сможете запросить эти данные в соответствующих органах.

Теперь об истинных доходах — той сумме, которая подлежит налогообложению. По Москве эта сумма составила 1 млрд. 414 млн. 800 тыс. рублей. В виде налога город получил около 48 миллионов. Маловато, конечно, но разве мы определяем налоговую политику? Разве с нас надо спрашивать за квалификацию финансистов, которые вначале всем кооперативам скопом определили три — пять — десять процентов налога, а сегодня с перепугу — двадцать — сорок — шестьдесят?

Доход был использован следующим образом. В фонд развития поступило 257 млн. 600 тыс. рублей. Предприятиям надо расширяться, строиться, покупать новое оборудование — думаю, это понятно. Сам уже устал от цифр, так что коротко: в страховой фонд и на погашение кредитов ушло еще около 99 миллионов. То есть и эти деньги не присвоили, а отдали. Считаете?

Таким образом подошли к самой интересной цифре: фонд зарплаты. Это 845 млн. 900 тыс. рублей. То мы все складывали-вычитали, а теперь будем делить. На семь, то есть на число месяцев, за которые были заработаны эти деньги. И еще на 300 тыс. (таково, по данным Моссовета, число работающих в Москве кооператоров). Сколько получается в среднем? Немногим более четырехсот рублей на человека в месяц. Не мало, конечно, но и не бог весть что, по нашим-то временам. Я уже не говорю об 1 проценте отчислений в профсоюзы, а это как-никак 8,5 млн. рублей.

Во всяком случае, цифры производят не столь ошеломляющее впечатление, как те, что в вашем докладе. Кстати, Вы там еще добавили, что 384 миллиона рублей «выбранных кооператорами денег за июль месяц равноценны одной трети фонда заработной платы всей трудовой Москвы». Каков смысл этого сравнения? Может быть, мы хоть на копейку нанесли ущерб заработку трудовой Москвы? И почему, несмотря на очевидную некорректность такого сравнения, оно все еще производит впечатление? Может быть, потому, что в нем явное противопоставление: выходит, вся Москва, кроме кооператоров, трудовая. Вывод один: люди работают, а кооператоры жульничают, спекулируют, наживаются на бедах Отечества. Как надо с такими поступить?

Тут, Степан Алексеевич, я отдаю Вам должное. Месяц спустя после Вашего выступления в защиту народа от кооператоров я побывал на митинге, организованном в Лужниках вашими единомышленниками из МГСПС. И понял, что многие (не без помощи чиновников от профсоюзов) нашли для себя ответ на вопрос: кто виноват? Лозунги митинга Вам, конечно, известны: «Долой кооперативы, грабящие народ», «Пора разобраться с теми, кто придумал кооперацию», «Нам не нужно правительство, поддерживающее спекулятивную кооперацию». Я насчитал там 362 такого рода плакатов.

Да, простите, я ведь еще одну цифру упустил, а с Вами, я это сознаю, надо быть точным. Последней строкой в моей финансовой декларации — сумма свободных средств кооперативов, которая составляет 171 миллион рублей. Основную часть этих денег, боясь насильственного закрытия счетов в тех или иных госбанках, кооперативы положили на личные счета в сберкассы, увеличив на 140 миллионов рублей сумму денег, которые людям не на что истратить. Кстати, за 7 месяцев этого года в сберкассы Москвы «упало» 800 миллионов рублей неотоваренного спроса. При внимательном счете у нас получится остаток свободных средств 31 миллион. Где он? Да нет этих денег, Степан Алексеевич. Извините за беззастенчивость, но пошли на подкуп разного рода государственных и негосударственных людей. И вынуты из карманов, сами понимаете, не по доброй воле кооператоров.

Таков отчет о доходах и расходах. И я думаю: зачем на всесоюзной трибуне Вам надо было пользоваться лживыми цифрами, если Вы, обратившись в известные Вам органы, легко могли узнать истинные? Может быть, это ошибка? Или Вы чрезмерно доверились информации, поступившей из МГСПС?

И все же, поразмыслив, прихожу к выводу: нет, пожалуй, дело не в ошибке и не в избытке доверчивости. Ну, а в чем же тогда, уважаемый Степан Алексеевич?

А. ФЕДОРОВ,
председатель правления Московского союза кооперативов

■

Мы все живем надеждами на лучшее будущее, судьба которого в наших руках и в делах народных депутатов, осуществляющих наши чаяния. Но мы видим, что депутаты наши бесконтрольны, а бесконтрольность порой ведет к безответственности. Они могут объявить замечательную предвыборную программу, произнести пламенную речь с трибуны съезда за перестройку, убедительно отчитаться перед избирателями, но при решении важнейших вопросов на съезде или сессии проголосовать против нужного перестройке закона. Кто узнает о такой метаморфозе в деятельности избранника народа? Процедура «скрытого» голосования, которая осуществляется сейчас, позволяет депутату забыть о воле избирателей, их наказах и, не заботясь об ответственности перед ними, проводить свою личную политику, будь она корыстна или услужлива. Телевизионные представления заседаний не помогут избежать бесконтрольности. Если мы всерьез решили перестроить верховный орган власти, то нужен в первую очередь и серьезный всенародный контроль. Нужно ввести поименное голосование по всем решающим вопросам, и особенно по принятию законов. Результаты поименного голосования должны оформляться в бюллетенях работы съезда, сессии, а затем печататься в местной печати всех регионов страны по своим депутатам. Вот тогда мы увидим, как наш депутат борется за перестройку и выполняет нашу волю или он тормозит ее и забыл наши наказы.

Сразу будет ясно, кому можно доверять, а кого стоит отозвать, не дожидаясь новых выборов. Это будет и контроль за деятельностью депутатов.

В. ЗАГОРОДНИЙ
Владимир

■

В последнее время большие надежды в борьбе с преступностью возлагают на добровольные рабочие отряды. Газеты сообщают о положительных результатах создания таких отрядов в Горьком, Набережных Челнах и ряде других городов. Считаю, что этот путь борьбы с преступностью не оптимальный, более того, тупиковый вариант. Это связано с рядом причин объективного и субъективного характера.

Во-первых, предприятиям в условиях хозрасчета, очевидно, не совсем выгодно платить зарплату токарям, фрезеровщикам и пр., которые, вместо того чтобы стоять у станка и давать продукцию, патрулируют улицы и парки. Получается что-то вроде «футболиста-токаря» или «хоккеиста-военнослужащего». Дело, конечно, благородное, но все же непонятно, зачем водителя грузовика превращать на время еще и в милиционера?

Во-вторых, если как-то еще можно мотивировать патрулирование рабочими предприятия (с выплатой им за это время среднего заработка) района, где находится предприятие, или жилмассива, где живет основная часть его работников, то как быть с обеспечением порядка в других районах города? Попадают они в сферу действия рабочего отряда содействия милиции или нет? А как быть жителям тех районов, городов, где вообще нет предприятий, достаточно крупных для того, чтобы взять под свою охрану всех жителей? Собирать рабочий отряд на разных предприятиях с бору по сосенке?

Наконец, и это, пожалуй, главное, порочна сама идея: прибегнуть для борьбы с профессиональной и полу-

профессиональной преступностью к помощи отрядов любительской и полулюбительской милиции. ДНД не оправдали возлагавшихся на них в свое время ожиданий. В последнее время много пишут и говорят о том, что даже милиция не всегда в состоянии достаточно эффективно противостоять преступности, особенно организованной. Так смогут ли заменить (или усилить) милицию рабочие отряды содействия? Не получится ли то же, что с ДНД? Очевидно, нужны не любители, а профессионалы (что-то вроде «муниципальной милиции», идея создания которой напрашивается сама собой). Необходимо увеличение числа работников милиции — хорошо подготовленных профессионально и хорошо оплачиваемых, улучшение материального и технического обеспечения милиции. Поскольку все это требует денег, которых и без того в бюджете не густо, необходимо изыскать источники их поступления.

Таким источником могли бы стать целевые местные налоги (в масштабах республики, области, города или района — в зависимости от уровня преступности). Кто откажется уплатить рубль-два за возможность спокойно возвращаться домой после второй смены или вечернего киносеанса? Да и предприятиям такой налог обойдется дешевле, чем содержание отряда содействия милиции. А много ли желающих платить налог и много ли против этого, можно установить путем социологических опросов или референдумов местного масштаба. Принимать решение об установлении налога на содержание «муниципальной милиции» должен соответствующий местный Совет или все население соответствующего региона (референдум). Подчиняться «муниципальная милиция», очевидно, должна непосредственно соответствующему Совету народных депутатов.

Е. ХАРИТОНОВ,
кандидат юридических наук,
доцент Одесского университета

■

У нас в Белоруссии и в ее столице городе Минске много памятных мест, посвященных героической борьбе народа в годы Великой Отечественной войны. Жители республики свято берегут эти памятники. Мои дети, например, с самого раннего возраста каждый год несли цветы в День Победы к памятнику-обелиску партизанам-освободителям.

Но приходит весна, и опять я вижу ежедневно, как мальчики и девочки в военной форме, с автоматами, сменяя друг друга, становятся в караул у этого святого места. Неизвестно кем придуманный ритуал еще в застойные годы повторяется и сейчас. Когда я спросила у сменившихся школьников, для чего они это делают, дети замялись, и никто ничего вразумительного не ответил. Сопровождавший их майор Советской Армии вообще не стал со мной разговаривать.

Мне трудно подобрать даже определение этой показухе, этому ханжеству, которые мы сами сеем в душах наших детей. Да и со стороны смотреть на детей в военной форме с автоматами, марширующих в центре города, страшно! О каком же тут патриотизме речь?

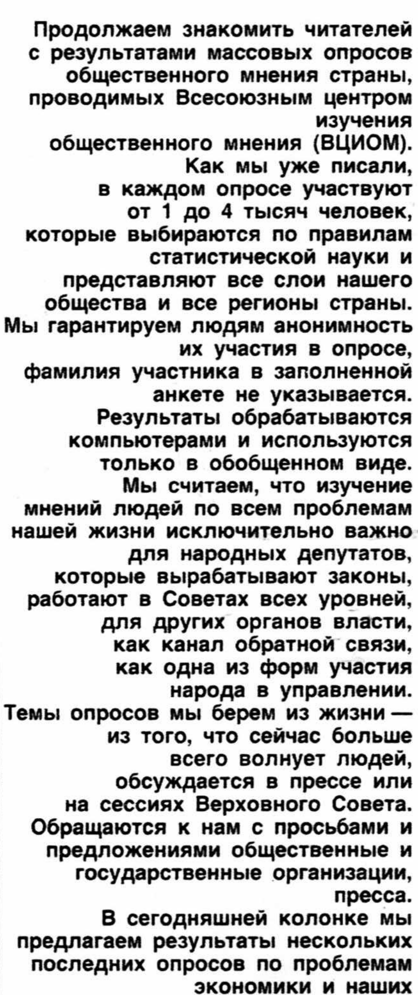
Я. Н. АСИПКОВА,
преподаватель
Минск

Наш адрес: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.

«ЗА И ПРОТИВ»

Всесоюзный центр изучения общественного мнения сообщает

Фото Галины ТИУНОВОЙ


Продолжаем знакомить читателей с результатами массовых опросов общественного мнения страны, проводимых Всесоюзным центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Как мы уже писали, в каждом опросе участвуют от 1 до 4 тысяч человек, которые выбираются по правилам статистической науки и представляют все слои нашего общества и все регионы страны. Мы гарантируем людям анонимность их участия в опросе, фамилия участника в заполненной анкете не указывается. Результаты обрабатываются компьютерами и используются только в обобщенном виде. Мы считаем, что изучение мнений людей по всем проблемам нашей жизни исключительно важно для народных депутатов, которые вырабатывают законы, работают в Советах всех уровней, для других органов власти, как канал обратной связи, как одна из форм участия народа в управлении. Темы опросов мы берем из жизни — из того, что сейчас больше всего волнует людей, обсуждается в прессе или на сессиях Верховного Совета. Обращаются к нам с просьбами и предложениями общественные и государственные организации, пресса. В сегодняшней колонке мы предлагаем результаты нескольких последних опросов по проблемам экономики и наших каждодневных забот.

ВОПРОС. ***Как в ближайшие годы, на ваш взгляд, может измениться состояние экономики нашей страны?***

1. Улучшится	—23,7%
2. Ухудшится	—10,0%
3. Останется без изменений	—28,1%
4. Сначала улучшится, потом ухудшится	—3,2%
5. Сначала ухудшится, потом улучшится	—35,0%

ВОПРОС. ***Какое из приведенных ниже суждений в наибольшей степени отвечает вашему отношению к выполняемой работе?***

1. Для меня работа — самое главное в жизни	—14,9%
2. Для меня работа очень важна, но есть и другие, не менее важные вещи	—54,5%
3. Я работаю потому, что мне за это платят	—25,6%
4. Работа — неприятная необходимость, если бы я мог, то не работал бы	—6,4%

(Некоторые отвечавшие называли две позиции, поэтому сумма больше 100%.)

ВОПРОС. ***Приходилось ли вам платить за медицинские услуги в государственных медицинских учреждениях и в какой форме?***

1. Да, расплачивался за услуги деньгами	—12,2%
2. Да, расплачивался за услуги подарками, услугами	—18,0%
3. Нет, мне не приходилось платить за лечение в государственных медицинских учреждениях	—71,3%

(Некоторые отвечавшие называли две позиции, поэтому сумма больше 100%).

ВОПРОС. ***Считаете ли вы, что уделяете своему здоровью достаточно внимания?***

1. Считаю, что уделяю своему здоровью меньше внимания, чем нужно	—49,1%
2. Считаю, что уделяю своему здоровью недопустимо мало внимания	—23,6%
3. Состояние моего здоровья не требует особого внимания	—8,3%
4. Считаю, что уделяю своему здоровью столько внимания, сколько нужно	—16,6%
5. Затрудняюсь ответить	—2,8%

ВОПРОС. ***В какой мере вас тревожит состояние окружающей среды в вашем городе, поселке, ближайших окрестностях?***

1. Тревожит очень сильно	—51,4%
2. Тревожит довольно сильно	—32,1%
3. Тревожит довольно слабо	—6,7%
4. Не тревожит	—4,9%
5. Затрудняюсь ответить	—4,9%

ВОПРОС. ***Согласны ли вы с точкой зрения, что перестройка и гласность в СССР будут сорваны бюрократическим аппаратом?***

1. Согласен	—16,0%
2. Не согласен	—45,3%
3. Затрудняюсь ответить	—38,7%

* * *

ВЦИОМ проводит изучение общественного мнения по заказам государственных, общественных, кооперативных организаций по любым интересующим их проблемам. Наш адрес: Москва, Ленинский проспект, 146, тел. 438-51-77.

Перепечатка информации только с разрешения ВЦИОМ.

«ОГОНЕК-ВИДЕО»

На прошлой неделе московская кинокопировальная фабрика приступила к тиражированию пятого видеовыпуска журнала «Огонек» за 1989 год. В ближайшее время наши видеоподписчики получат новую кассету.

В связи с ограниченным тиражом «Огонек-видео» распространяется только организациям. Частным лицам наша кассета не продается. Советуем обращаться в видеосалоны, пункты видеопроката вашего города: там в ближайшее время вы можете получить очередной, пятый выпуск «Огонька-видео».

А для видео- и кинопрокатных организаций, профсоюзных, хозрасчетных, молодежных клубов, кооперативов, для всех, кто не успел еще познакомиться с нашими кассетами, напоминаем: по вопросам приобретения и подписки на видеовыпуски журнала «Огонек» на 1989 и 1990 годы следует обращаться по адресу: 117313, Москва, аб. ящик 843, тел. 212-15-79.

В 42-м номере журнала был сообщен неправильный адрес. Приносим свои извинения читателям.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ: МАТЕРИАЛЕН ЛИ МИР, КОГДА ВСЕ ДЕФИЦИТНО?

Константин БАРЫКИН

Не скажу, что кошелек харьковчанина туго набит червонцами. Но от нужной покупки здесь не отказываются, выстаивают в нервных очередях, рыскают по магазинам. Не только в своем городе, используют и оказии. Попутчик, мы с ним в одном купе ехали, «мотался» в Москву вроде бы по делам, но прежде всего — чтобы купить противоугонный автомобильный замок. Харьковского, к слову, производства. Здесь их не сыскать.

— Купил в столице, на «черном» рынке. Мы местного товара не видим, тень одна: говорят, был, да весь вышел. План выполняется, а в магазинах — шаром покати...

Уровень притязаний «среднего» харьковского покупателя выше, чем «в среднем» по стране. Здешний избалован уже тем, что живет в Харькове; это само по себе поднимает планку запросов. И когда харьковчанин говорит, что «в магазине — ничегошеньки», я ему мог бы посоветовать поехать в другой город: сравнения отрезвляют, а иногда и успокаивают. Но, даже делая корреляцию на здешний темперамент, следует признать: в Харькове нет харьковского товара. Те же автомобильные замки делают ведь тут, на станкостроительном объединении. Телевизоры, отличные магнитофоны, велосипеды, стиральные машины, лучшие в стране термосы...

Директор крупного универмага «Украина» Анатолий Николаевич Ковалев предупредил: ничего из перечисленного в универмаге нет. Может, немножечко и лукавил... Но я знакомлюсь с документами и вижу, что при договоре на полуторамиллионную поставку харьковских изделий универмагу дали их на 400 тысяч рублей. «Ощущаете разницу?» Я-то ее не почувствовал, но вот на покупателях она отражается. И впрямую, и по касательной. Касательная же такова. Делают в городе небольшие дорожные утюги. Положил такой в складной футлярчик, и хоть на край света, лишь бы там была розетка электропроводки. Венгерские партнеры «Украины» предложили коммерческую сделку: вы нам три тысячи таких утюжков, мы вам — модный трикотаж. Ударили по рукам. Наши, харьковские, уже стали для блузок и джемперов прилавок подыскивать. Да поторопились. Универмагу отказали в утюгах. Дали десятка два, на пять минут торговли, а о тысячах и говорить не позволили. Все утюги отправили в другие города. Винить в том некого: такова практика. Вал, план? Система! Отсюда вывозится товаров больше, чем привозится из других регионов. (Из справки: «при годовом объеме производства непродовольственных товаров в 3 миллиарда руб. за пределы области вывозится на 2,6 миллиарда руб., а привозится — на 1,6 миллиарда.) В документах и отчетах Харьковская область проходит по графе «вывозящая».

— Зачем же своих обижаете? — спросил я руководителей «Электротяжмаша».

— Обида — категория неэкономическая, эмоциональная,— отозвался главный инженер Борис Максимович Подгорный.— В планы ее не заложишь, а не мешало бы. Расчеты же таковы: стиральные машины, соковыжималки, деревообрабатывающие станочки для любителей помастерить (или построить дачный домик) прежде всего отправляем по договорам.

— У нас стопроцентный госзаказ,— вступает в разговор заместитель генерального директора по экономике Анатолий Филиппович Линник.— Мы согласились, но предложили: то, что сделаем сверх плана, оставьте в городе. Решили: организуем субботние смены, включим другие резервы.

В министерстве выслушали, покивали согласно головами. А потом пришла бумага, в которой была цифра, превосходящая и прежний план, и резервные возможности.

— Вы бы отказались.

— Так мы и сделали...

Но и в ведомствах тоже не дураки, там не за одну зарплату протирают штаны и изводят чернила. Из центра намекнули: если заводчане строптивость поумерят и примут супербольшой план, то получат прессплаcтавтомат...

А машина такая во как нужна заводу, позарез нужна, без нее производство хоть останавливай. Или резко сокращай. Исход недолгой битвы «предприятие — министерство» вы уже вычислили, мне остается лишь добавить, что и из того увеличенного объема собственно городу и заводу мало что останется.

Мир вещей строптив и несговорчив. Дефицит командует парадом, вносит свою расстановку в ассортимент, в качество. Удивляться этому устали: наш товарный рынок всего лишь отражение нашей же экономики, он вписался в систему и цепко держится за нее. Ошалевшая от этого самого дефицита торговля готова на любую кабалу, на любые уступки, лишь бы ей дали какой-никакой товарец. И если она и сопротивляется вывозной практике, то делает это робко, с оговорками, не раздражая центровое начальство. В областном управлении торговли показали несколько писем, справок, запросов, протестов. Все в них вроде правильно. Но слишком уж стерильно, спокойно, без глубокого анализа. Не увидел предполагаемых путей выправления сложившейся обстановки. Даже в письме на имя Предсовмина Украины нет того нерва, без которого магазинную ситуацию, настроения людей оценить весьма трудно.

Не поймите, что я призываю к тому, чтобы создать области и городу режим особого товарного благоприятствования: вали валом, все сами берем... Но вот на четкость, на определенность харковчане рассчитывать могут. Допустим, на такой вариант: при полном выполнении госзаказа всю сверхплановую продукцию (всю, без исключений!) оставлять в распоряжении самих горожан. И сказать об этом — чтобы контроль был. Установить региону стабильные цифры поставок. Не на квартал, не на год даже — на пятилетку. И будут знать люди: лучше поработаем — больше получим. Не денег — товаров.

— На реконструкцию парфюмерно-косметической фабрики затрачено более 12 миллионов рублей, но, как и до реконструкции, городу остаются крохи,— втолковывали мне.— Какой, кому от этого прок? Выделять больше? Никто не возражает, но и не решает никто. Ни в Москве, ни в Киеве. Знай, что так будет, мы, может, повременили бы, не делали крупного вклада в это предприятие. Велозаводу было отпущено 22 миллиона, но сам Харьков получает всего три процента готовых изделий.

И еще одно обстоятельство, о нем почему-то не принято говорить. Качество зависит не только от того, кто товары делает, но и для кого! Это не секрет, не сиюминутная выдумка, это известно всем и давно. Сработано, «как для себя», значит, на совесть. Почему бы не возвратить это «для себя» с пользой для всех? Не как местничество, а как житейский, значит, экономический подход, как умение. Для поддержания качества можно применить и такую «высшую меру», как продажа товара изготовителям. Не только мастеру, но и его товарищу по цеху, его соседу по дому, городу, сообществу. Это кого-то сбросит с пьедестала, кого-то поднимет на уровень, который отмечен быстро исчезающим словом «мастер». Пока же мы разбазариваем и мастеровитость.

На том же «Электротяжмаше» есть несколько интересных и нужных потребителю новых разработок. Такой деревообрабатывающий станочек, что любое садоводческое товарищество его с руками оторвет. Приезжали на предприятие иностранные купцы-партнеры, увидели разработку: «Сколько можете поставить?» Не делают пока новинку.

— А зачем нам торопиться? — спрашивают меня.

И впрямь — зачем? Даже для маневра, для контрактаций с зарубежными партнерами товар не оставят. Станкостроители оборудовали цех товаров народного потребления. Делают те же автомобильные противоугонные приспособления, гаражные замки, иную технику. Раскупается все — на корню. Своим остается символический, неосязаемый процент. Будет ли при этом предприятие совершенствовать продукцию? Не знаю, но в одной умной зарубежной книге я нашел такой пассаж: «Идея ры-

Фото Марка ШТЕЙНБОКА

ХАРЬКОВ, НО БЕЗ „ХАРЬКОВЧАНКИ"

Вчера состоялось еще одно явление дефицита народу. Произошло это в Харькове, в большом универмаге. Народ хотел купить, а ему сказали «нет!». Не за заморской диковинкой пришли люди в магазин, за стиральной машиной «Харьковчанка».

ночной экономики исходит из предпосылки, что, если каждый человек будет усердно преследовать свои личные (в книге это слово дано вразбивку: личные.— **К. Б.**) экономические интересы, это благотворно отразится на обществе (снова разбивка.— **К. Б.**) в целом».

И дана схема: «личная выгода → общественное благо».

Может быть, это вдрызг капиталистический подход, может, он у нас не сработает? Но попробовать-то можно... Взять и экстраполировать эту рекомендацию на завод, на город, на регион? Груз не экономических, а плановых предрассудков лишает нас толковой организации дела. В практике все: от таких классических методов торможения, как согласование, до прямого давления — отдай план и сверх плана. И будет тебе пластавтомат...

В стране нет показателей, опираясь на которые можно было выйти из товарного прорыва. Придумали, записали, разрекламировали: на каждый рубль зарплаты делать товаров на рубль же. Радовались, аплодировали, столько крови испортили, пытаясь выйти на этот лакомый рубеж. И что же? В Харькове на зарплатный рубль производят товаров на полтора рубля. А полки полупусты. У харьковчанина планомерно и напористо отбирают то, что он сделал. Грабеж средь бела дня осуществляется по плану, «в соответствии»; грабителей много, а средств защиты нет: как бороться с госрэкетом?

— Куда смотрит горком? — спросил я первого секретаря Харьковского горкома Компартии Украины Константина Васильевича Хирного... Но прежде чем привести его ответ, скажу: не по ошибке я постучался в партийный комитет по «сугубо хозяйственному», экономическому вопросу, не случайно. Во-первых, в крупном городе нет городского управления торговли, а соответствующий отдел горисполкома мал и немощен — что там выяснишь? Во-вторых, я в этом убежден: торговля, товары, дефицит — вопросы прежде всего «сугубо политического» свойства.

Константин Васильевич подтвердил: сегодня город не заинтересован в наращивании производства товаров — это требует больших усилий, а отдача (не вообще, не глобально, так сказать, а для горожан) мизерна. Можно сколько угодно призывать, увещевать и настаивать — без подключения к разумной экономике дело не сдвинется.

Уповаем на конверсию. Она только нащупывает свои пути, а ее уже обложили тем же оброком: чем больше делают оборонные заводы, тем больше отправляется за пределы области и города. Дать право местным Советам и хозяйственным органам ввести в отчетность графу «местная заинтересованность»! Никто не будет злоупотреблять, но появится возможность маневра. Не покушаемся на устоявшиеся связи, говорил секретарь, но то, что родилось заново, местной инициативой, трудом, расчетом, не прижимайте к себе, оставьте у нас. Мы готовы резко увеличить выпуск товаров. Но — без распределительного диктата министерств и ведомств, плановых органов. Город дал предприятию землю, воду, энергию. На заводах работают харьковчане. Пусть интересы ведомств и города не противоречат, не сталкиваются, а дополняют и обогащают друг друга.

Мы о многом говорили с первым секретарем. Увидел дело в его реалиях, в конкретности. Но увидел и сети, силки, в которые попали предприятия города. «Огоньку», похоже, придется вернуться к этой теме — не региональный это вопрос.

Вернемся после того, как придут отклики на эти заметки из Госплана Украины и из тех центральных министерств, предприятия которых находятся в Харькове. Мы готовы опубликовать их мнение по проблеме: «министерство — город — предприятие — покупатель».

НАЛОГ С БОРОДЫ,

ИЛИ КАК ВЫЗВОЛИТЬ ИЗ БЕДЫ АВТОРСКОЕ ПРАВО

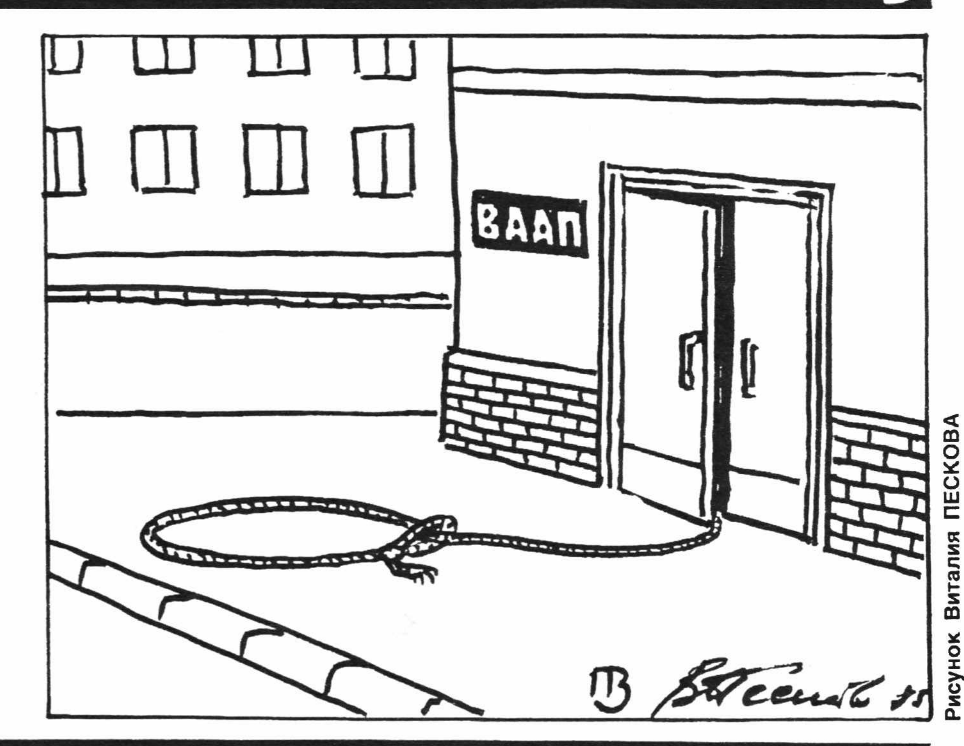


Рисунок Виталия ПЕСКОВА

А. СУХАНОВ,
художник

А. ФОКОВ,
юрист

Как писано в законе, так и шло на фарфоровом заводе имени М. В. Ломоносова в Ленинграде. Получали авторы зарплату за создание произведений. Начиналось их промышленное воспроизводство — платили авторам потиражный гонорар. Невеликий, пять процентов от зарплаты, но престижный. И вот Госкомтруд СССР постановлением от 22 октября 1984 года, согласованным с ВЦСПС, потиражные упразднил, сочтя их как бы второй зарплатой. На деле же потиражные не плата за труд и не надбавка к зарплате, а компенсация за изымаемое у автора право на свое детище.

Пятый год авторы в недоумении. Почему, минуя союзные республики, установившие право на потиражные, Госкомтруд упразднил их? Почему согласовал с ВЦСПС, не имевшим никакого отношения к потиражным? Почему допущены ложные разъяснения по авторскому праву? И почему, наконец, Всесоюзное агентство по авторским правам (ВААП), представительствуя в Госкомитете по труду во время принятия злополучного постановления о потиражных, не защитило ни тогда, ни до сих пор прав авторов?

Если разобраться, мы обнаружили, что за всей этой некрасивой историей четко маячит тень агентства по авторским правам.

Но зачем нужно агентству чинить все эти хитрости, а Госкомитету ополчаться против мизерных выплат, причем вполне законных? Просто в тягость ВААПу их оформление. А что в мелочных доходах агентство не нуждается, свидетельствует акт Минфина СССР от 3 марта 1986 года: лишь за пять предыдущих лет дотация агентству составила более 15 миллионов рублей.

Кипы бумаги исписал в борьбе за свои авторские права и за престиж советской науки изобретатель и ученый Л. Иогансен — доктор физико-математических наук, автор открытия резонансно-туннельного оптического эффекта, которое было фактически украдено зарубежной корпорацией. ВААП же, куда Иогансен обращался за помощью, только и занимался тем, что слал ученому одни отписки, в то время как в уставе ВААП на пяти языках говорится об обязанности агентства содействовать созданию наиболее благоприятных правовых условий, моральных и материальных предпосылок для плодотворного труда деятелей науки, литературы и искусства.

Пытаясь понять причину кабальной зависимости, почему авторское право действует против автора и самого государства и за какие заслуги падает на ВААП «манна небесная», мы ознакомились с деятельностью учреждения и выяснили, что хотя его декларация — охрана авторских прав, свое назначение агентство видит... в экспортной торговле этими правами. Устроен «промысел» своеобразно: по узаконенным квотам. Узаконенным для того, чтобы «бить» по гонорарам авторов без промаха и брить их под бритву. Верно, после таких налетов на гонорар автору иногда что-то и остается... Какой примерно бывает этот остаток, можно видеть по извещению, которое получил от ВААП писатель А. Стругацкий:

«Уважаемый Аркадий Натанович, на Ваше имя из Венгрии поступил гонорар в размере 529 руб. 66 коп. за издание Вашей книги «Страна багровых туч». После всех вычетов Вам причитается 99 руб. 49 коп».

Восемьдесят с лишним процентов гонорара как корова языком слизала!

Вот что ответил на наш вопрос по поводу ВААП автор известного романа «Дети Арбата» писатель А. Рыбаков:

— Я устал работать на этого принудительного «посредника», в котором не нуждаюсь. Без моего разрешения по какому-то устроенному агентством постановлению он снимает в свою пользу с моих гонораров одну четверть только за то, что под видом налога затем конфискует в пользу государства почти всю остальную часть гонораров.

Расчет, по которому опустошает ВААП гонорарные кошельки авторов, действительно оказался именно таким, как поведал нам Анатолий Наумович Рыбаков. Двадцать пять процентов инвалюты ВААП забирает себе с гонорара автора сразу и с оставшейся суммы удерживает прогрессивный налог... до 97 процентов, кивая при этом на Минфин. В действительности природа этого «налога с бороды» тоже вся ваапловская. Нужен агентству налог в таком виде потому, что позволяет облагать одно и то же произведение по-разному: до 13 процентов, как заказное, и до 97 процентов — как не заказное. Для этого агентство ввело через Минфин в закон растяжимую формулировку: «За произведения, специально созданные для использования за пределами СССР». Нетрудно понять, от кого зависят проценты и с кем находить «общий язык». Не такой ли формулировкой объясняются оказавшиеся «лишними» в ВААПе 1,3 миллиона рублей, выявленных при проверке агентства за 1984 год и изъятых в бюджет? По тому же принципу запроектирован теперь прогрессивный налог в новом Законе о налогах, причем с гонорара, выплаченного в «календарном году». Можешь потратить на произведение хоть всю жизнь, а выходит, будто сработано оно за один год. Гонорар при этом представляется вроде бы сверхприбылью. Хватит ли такой общипанной «сверхприбыли» автору на то, чтобы свести концы с концами, ВААП не интересует. Но справедливо ли вообще обложение податью автора, если учесть муки творчества и издержки, которые несет он сам? И, кстати, знает ли Минфин, что, помогая протаскивать такие проекты, он душит авторство?

Сами-то авторы реагируют как? Барахтаются... В одиночку. Кому-то и удается вырваться, например, Чингизу Айтматову. Руководствуясь законодательством, он сам без посредника охраняет свое авторское право. Но такая свобода — большая редкость. Крепко заякорило авторов агентство.

Прикрываясь демагогией, не защищает авторов ВААП, а только разоряет. Разоряет само и, следуя поговорке «рука руку моет», помогает в этом другим. А как осуществляет помощь, видно из следующего примера.

В прошлом году в Москве фирмой СОТБИ был устроен аукцион картин

А. Родченко, Н. Нестеровой, И. Кабакова, Б. Янкилевского и еще тридцати дореволюционных и советских мастеров, произведения которых на правах личной собственности принадлежали либо им самим, либо другим лицам. Выручка составила почти три миллиона фунтов стерлингов. Комитенту, которым являлись собственники картин, полагалось 60 процентов. Но когда фунты перекочевали в сейфы Внешторгбанка, а картины уплыли за рубеж, подключился Минфин. Пропустив фунты через налоговый фильтр как авторское вознаграждение за использование произведений и одурачив так комитента, он распорядился выплатить ему лишь пятую часть.

Описывая неблаговидную сущность агентства, смыкающегося с рутинными звеньями госаппарата, не можем мы обойти стороной и такой вопиющий своим произволом факт, как полное бесправие авторов промышленной собственности перед лицом ГКНТ — Комитета по науке и технике (один из Учредителей агентства).

Основываясь на экстремизме и произволе сталинского постановления ЦИК и СНК СССР от 9 апреля 1931 года («Действующее до сих пор законодательство, охраняющее интересы изобретателя путем предоставления ему исключительного права на изобретение, уже не соответствует стремлениям передовых изобретателей») и относя открывательство и изобретательство к служебной обязанности, ГКНТ упорно сохраняет бесправие изобретателя и открывателя, обеспечивая агентству собственную комфортабельность за счет эксплуатации истинных подвижников. Комитет этот считает себя таким образом содобытчиком государственной выгоды. Чиновников не смущает, что «выгода» эта благодаря элементарному нарушению прав человека оборачивается не пользой, а вредом.

«Опекает» агентство не только авторов, но и так называемых юридических лиц — обладателей авторского права: редакции и издательства. Игнорируя законодательство, ВААП не возмещает им даже затрат на обработку произведений, да и узнают о такой «опеке» потерпевшие, как правило, по истечении исковой давности, настолько ловко ведет агентство дела. Например, еще в 1981 году ВААП запродал «Оверсис Паблишерз Ассошиэйшн» право на перепечатку и распространение во всем мире свыше сотни научных журналов, а выплыла эта история только теперь.

Нечиста оказалась сделка и со стороны финансовой дисциплины. Например, вся сумма контракта осела в карманах частных переводчиков. Причем договоров ни с фирмой, ни с ВААП они не заключали. В контракте сказано, что ВААП осуществляет перевод, за что фирма платит агентству. О цене же самого права на журналы ни слова. Выходит, и здесь было какое-то «джентльменское» соглашение? Что же в таком случае представляет собой агентство? Частную лавочку? Подсчитывал ли кто-то, во что обходится вааповский валютный «пенс», еще и не всегда попадающий в казну, и может ли он восполнить ущерб, наносимый вааповскими деятелями, разбазаривающими наше ценнейшее достояние — продукт интеллектуального труда?

Однако «пенс» такой еще и контролируется Минвнешторгом (ныне Минвнешэкономсвязей). Не имевший отношения к охране авторских прав Минвнешторг вошел в состав Учредителей агентства, да еще... руководящим органом. Вот, оказывается, кто наш хозяин и от кого, кроме агентов ВААП с их комиссионной и налоговой «политикой», зависит авторское право.

Инициатива же создания «конторы», подчиненной интересам Минвнешторга, исходила от бывших управлений охраны авторских прав при творческих союзах. Смысл? В создании таких условий, при которых автор вообще никогда бы не смог вырваться из железных объятий агентов этого учреждения.

Не имея отношения ни к науке, ни к искусству, ни к литературе, ни к идеологии, чиновники переименованных в ВААП управлений обретели право и даже обязанность расширения международного сотрудничества в этих областях. А обосновали вывесками учредителей. Их четырнадцать.

Как же используются привилегии, добытые агентством с помощью учредителей? Разработана целая система зависимости авторов от милости агентов. Понятна ее суть из так называемого научно-практического комментария ВААП «Авторские дела в суде», гвоздем коего служит установка: «Авторское право представляет собой одно из важнейших средств организации идеологической работы, через него осуществляется воздействие на авторов». Итог? Ежегодно от 600 до 800 и более судебных «воздействий». Понравится вам творить по вдохновению, а получать гонорар по суду? И тут явное нарушение: мерилом судебного гонорара сделаны действующие ставки, которые вообще не могли существовать, ибо на один и тот же вид произведения устанавливают разные размеры гонорара. Например, по ставкам Госкомиздата РСФСР от 22 апреля 1975 года за авторский лист прозы (25 машинописных страниц) установлен диапазон гонораров: от 150 до 400 рублей. Диапазонов подобных — сто шестьдесят! Дробны ставки и по другим видам творчества и тоже не содержат методологии выбора. Как разобраться в них, если итог творчества в силу уникальности любого произведения не имеет сопоставимых категорий, которые служили бы критерием труда и его точным денежным эквивалентом. Во всем мире принят расчет по итоговой прибыли, из суммы которой автору выплачивается не менее 51 процента. Но такая справедливость не устраивает агентов. У них своя концепция: «Идеологическое воздействие на авторов через суд». Нашли они понимание в Верховном суде СССР у первого заместителя председателя С. Гусева, бывших председателей Л. Смирнова, В. Теребилова и в отделе соцкультотраслей Госкомтруда у тов. Г. Якимовича, объяснивших свое участие в мероприятии ВААП интересами государства и политикой «уравнивания умственного и физического труда». Но допустим ли интерес государства на сомнительных манипуляциях и допустимо ли на современном этапе уравнивание, например, ставок рабочего и ученого? Чиновников не касается. Именно с таких шаржирующих марксистское учение позиций именем Верховного суда они санкционировали не только судебную оценку произведений, но и метод — выбор экспертом ставок по качеству произведения, упустив из виду такой «пустячок», как отсутствие критерия качества, и, зная, что поставляет экспертов само же ВААП через свои руководящие органы — Учредителей. Установленные ВААПом спорные отношения стали верным средством укрощения автора в суде. А чтобы оно работало и дальше, ВААП с помощью того же тов. Якимовича из Госкомтруда протащило через Совмин СССР «перестроечное» постановление от 12 июля 1988 года № 825 об ... «упорядочении ставок авторского вознаграждения в целях совершенствования гонорарной политики». При этом вся политика и упорядочение состоят в подновлении тех же «резиновых» ставочных диапазонов.

Еще одно интересное средство агентства, изображаемое тоже благом,— лишение автора дееспособности путем присвоения агентством права являться в суде «законным представителем» автора, тогда как режим «законного представительства» введен законом исключительно для граждан, недееспособность которых установлена судебно-психиатрической экспертизой. Ссылается же ВААП на инструкцию Минкультуры и Союза художников РСФСР, несмотря на то, что закон запрещает подобного рода сделки.

Как нетрудно понять, цепляется агентство за инструкцию, приравнивающую автора к душевнобольным, потому, что она препятствует иску автора к ВААП, дает власть над автором и его гонораром.

Уставная привилегия на разъяснения агентством авторского права, которое разъяснять не требуется,— тоже своего рода средство воздействия на автора, вернее, на его гонорар. Приведем два таких дутых «разъяснения» из комментария ВААП. Как следует из логики авторского права, гонорар, установленный соглашением сторон, неподсуден. ВААП разъясняет: подсуден. Статья 475 ГК РСФСР устанавливает в качестве произведения продукт творческого труда. Агентство «разъясняет», что таковым можно считать и... продукт индустриального труда.

Эти «разъяснения» позволяют оспаривать гонорар в суде, сопоставлять под видом оригиналов образцы продукции, в которой лишь использовано произведение, на таком подлоге приписывать истцу с помощью экспертов, выделяемых Учредителями агентства, создание нескольких разных произведений, придумывать таким «произведениям» ставки и отказывать в иске, навешивая истцу ярлык рвача и сутяги, если тот попытается обжаловать решение суда.

По такому «сценарию», например, был проведен суд в Краснопресненском нарсуде г. Москвы. В нарушение Положения о худсовете, следуя «разъяснениям» ВААП, эксперт принял образцы промтовара за «оригинальные произведения».

Как ни стараются Учредители санкционированием ложных экспертиз и терпимостью к ложным разъяснениям задобрить агентство, оно и их не щадит, стрижет под одну гребенку. Например, в том же акте Минфина сказано, что ВААП собрало за 1984 год для литературного, музыкального, журналистского фондов 29 миллионов рублей отчислений, а фондам перечислил лишь 12. А когда мы поинтересовались в ВААПе, куда же делись остальные семнадцать миллионов, нам ответили, что это... коммерческая тайна.

То, что практика и «теория» агентства не согласуются с законодательством, агенты объясняют несовершенством последнего, но цель свою видят как раз в том, чтобы, обкатав свои манипуляции, убрать из законодательства все, им противоречащее. Заложено агентством это в том же комментарии: «Представляется, что выявление тенденций практики, основных принципиальных положений, на которых она основана, должно способствовать совершенствованию самого законодательства». Такое «усовершенствованное» законодательство, подставными ходатаями которого сделаны все те же Учредители агентства, на выходе *. Предлогом служит проводимое агентством мероприятие по вовлечению СССР еще в одну конвенцию. Тогда как с 1973 года Советский Союз член аналогичной, предусматривающей тоже взаимную охрану авторских прав и тоже по нормам национальных законодательств стран — участниц. Мотивами переделки законодательства выдвигаются: незащищенность будто бы некоторых произведений и необходимость продления посмертного авторского права до 50 лет.

Рассмотрели мы эти мотивы. На самом деле статья 475 ГК РСФСР словами «другие произведения» защищает все виды произведений. Установлено и понятие термина «произведение». Не выигрывает автор и от продления авторского права. Сейчас ВААП до нитки обирает автора при жизни и 25 лет после смерти. Новый срок лишь продлевает этот «порядок».

Факт, что учреждению все сходит с рук, объясняет такая фикция, как именование агентства общественной организацией. На самом деле это акционерное коммерческое подразделение восьми государственных ведомств и шести союзов.

Кем же сотворены казуистические вааповские дебри?

— Вовсе не мошенниками,— возразят агенты ВААП,— стиль наш создан дипломированными юристами и одобрен постановлением Совмина СССР от 16 августа 1973 года № 588.

Вроде бы действительно все «шито-крыто», если читать это постановление между строк. Но будем и мы формалистами... Не находится в нем указаний на попрание авторских прав. Не разрешена ВААПу бесконтрольная деятельность. Из постановления этого ясно следует, что одобрены не «стиль», а лишь акционерность предприятия. Да и устав утверждал не Совмин, а Учредители, именуемые в уставе Высшими руководящими органами агентства. Спрос поэтому с Учредителей.

Как же реагирует прокуратура на приведенные факты нарушений законности? Предпочитает отписываться в соответствии с «разъяснениями» агентства.

Не такие ли «конторы», дезорганизующие экономику и отношения в государстве, имелись в виду на XIX партконференции, когда ее делегаты говорили о необходимости ликвидации лишних звеньев в аппарате управления? Поскольку авторское право, да и интересы государства должны иметь защиту, возникает вопрос: можно ли повернуть агентство к закону?

Можно, по нашему мнению, потому что должно же быть в массе Учредителей агентства здоровое ядро, должно ведь возобладать чувство реального. Ведь гнетом агентства авторы доведены до крайности. Начали даже открывать счета в в иностранных банках, спасая свои гонорары от несправедливых поборов.

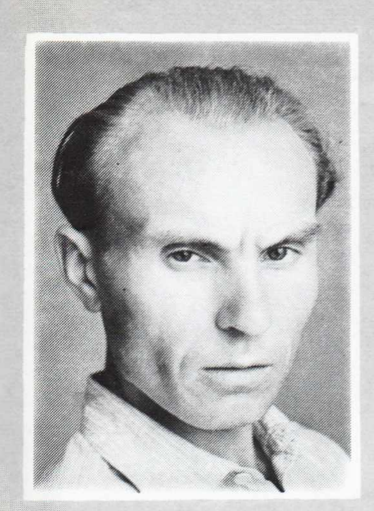
А может быть, стоит Учредителям дружно взяться и обуздать свое агентство? Наделенные правами, записанными в уставе, они все могут: и провести чистку кадров, и изменить устав, по которому вершат элементарный произвол агенты, и поставить агентство под контроль авторов, и ввести внесудебную (нотариатную) практику, и внедрить расчет гонорара по прибыли. И главное — предоставить авторам и обладателям авторского права самим распоряжаться своими правами.

А создание правового союза авторов интеллектуальной и промышленной собственности, который бы охранял права творцов, разве не дело Учредителей, если они считают себя причастными к охране авторского права? Обладая законодательной инициативой, Учредители могут добиться и упразднения валютного планирования, сдерживающего международные связи, и отмены драконовского налогообложения, сделать много нужного для развития авторства.

Вне сомнения, такая перестройка благотворно отразится и на экономике советских предприятий — обладателей авторского права. Она поставит зарубежные контакты на индустриальную основу, а это значит широкое участие иностранного капитала, ускоренная модернизация производственной базы и выпуск обеспеченной полноценным валютным рублем продукции. Разве могут идти в сравнение с такой прогрессивной формой экономических отношений, как совместные предприятия по использованию произведений науки, литературы, искусства, ведомственные торгашеские амбиции ВААП и стоящего за ним Минвнешэкономсвязей: ответчика за пустые прилавки и инфляцию — следствий протащенной в закон установки о первоочередности экспорта продукции?

...А пока мы продолжаем платить «налог с бороды» и уповать на возвращение нам авторского права.

* Проект предложен на рассмотрение Верховному Совету СССР.



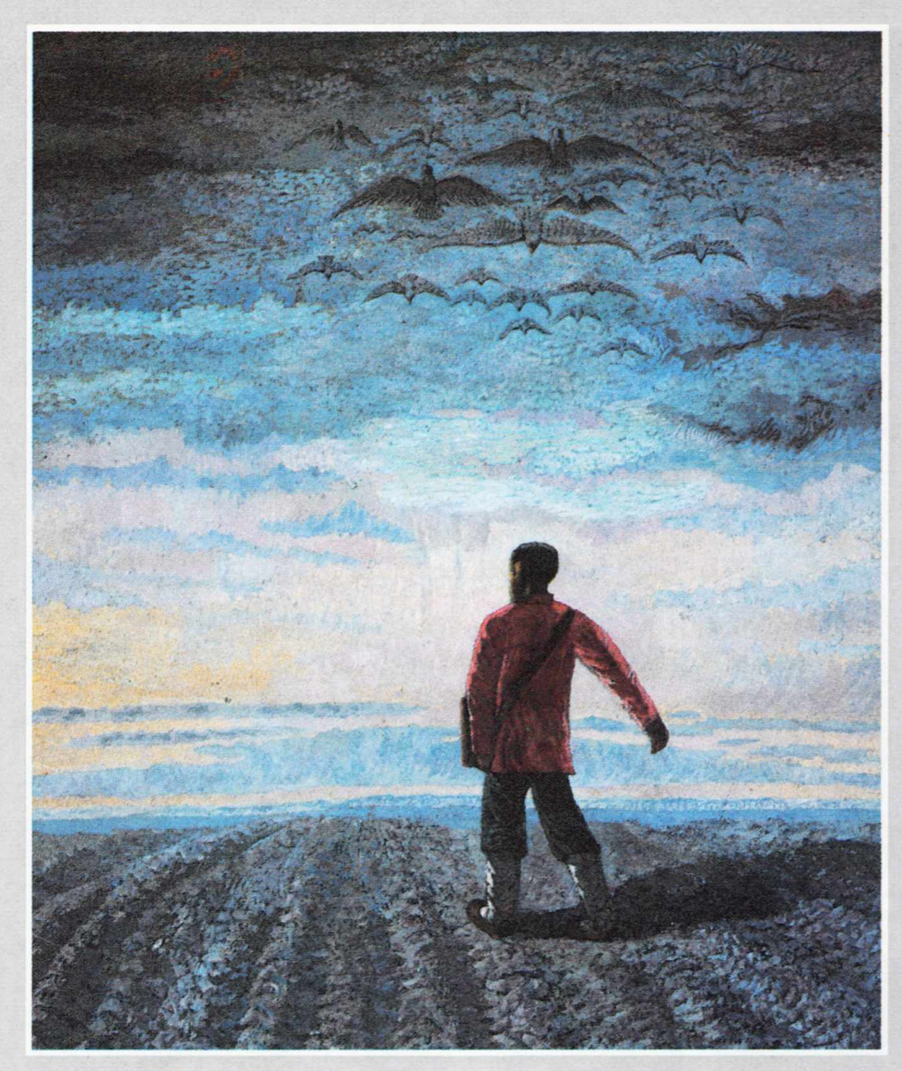
ЖЕЛЕЗНЫЙ МИТТОВ

ПАЛИТРА

Анатолий Миттов совсем недолго проработал в чувашском искусстве. Самостоятельный период его творчества занял всего десять лет: с 1961 года по 1971-й. В 39 лет художник ушел из жизни. Но и сейчас его имя является как бы точкой отсчета в становлении национальной школы, ибо он, как никто другой, поистине выстрадал идею своеобразия родного искусства.

Миттов со своими миниатюрами в темпере, сериями работ, в которых он пытался воссоздать мерный и спокойный ритм жизни чувашского крестьянина с архаичными ритуалами и празднествами («Чувашская старина», «Чувашская народная песня «Алран кайми аки-сухи», «Земля наших дедов»), со своими попытками интерпретации чувашской поэтической классики плохо вписывался в ту картину национального искусства, которая сложилась в концепциях искусствоведов и «неофициальных» мнениях аппаратной касты. Тогда лидерами были ловкие, без-

А. И. МИТТОВ. 1932—1971.
МЕЛАНХОЛИЯ
(Художник и его предки).
1969.



А. И. МИТТОВ. СЕЯТЕЛЬ.
Из серии «Чувашская народная застольная песня «Плуг и борона». 1965.

УЖИН В САДУ.
из серии
«Чувашская старина».
1965.

душные рисовальщики, которые поднабили руку на парадных портретах.

Лишь немногие чувашские художники того периода сохраняли верность внутреннему видению и не обманывали самих себя, угодливо реализуя социальный заказ на помпезность, ложный оптимизм.

И был Миттов («железный Миттов», как его прозвали еще товарищи по институту), который вызывающе (думаю, что его поведение расценивалось тогда именно так) неподкупен, не добивается никаких жизненных благ, не имеет даже мастерской и все свои работы сотворяет в скромной комнатушке коммуналки, перенося тяготы бедного, полуголодного существования.

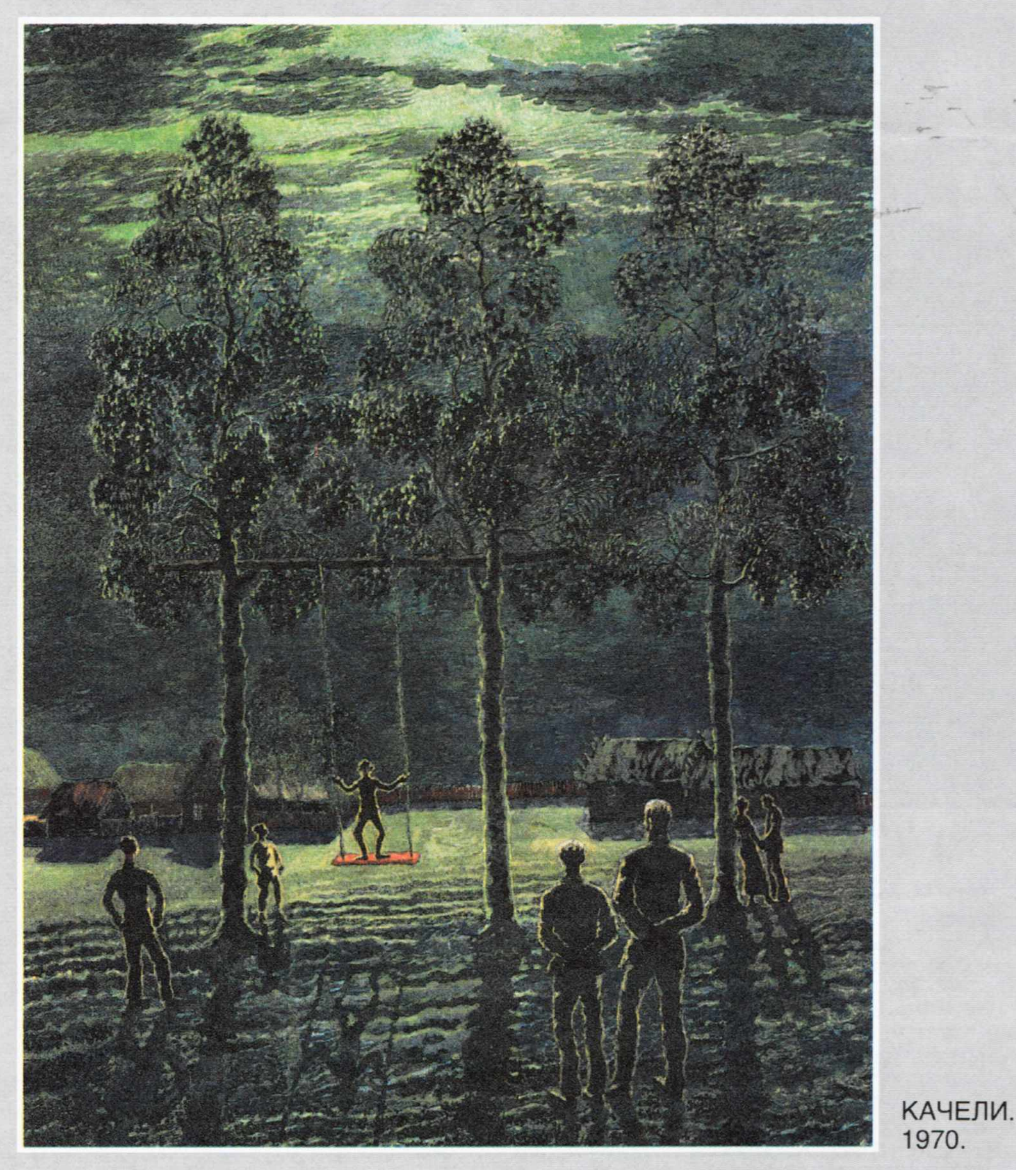
Художник тяготел к книжной графике. Его дипломной работой в Институте имени И. Е. Репина было оформление для отдельного книжного издания шедевра чувашской дореволюционной поэзии, поэмы Константина Иванова «Нарспи». Диплом был высоко оценен известными графиками Е. А. Кибриком и Г. Д. Епифановым, художником В. М. Орешниковым. Но характерно, что сама книга опубликована только через пять лет после смерти художника. Тут же она была удостоена Диплома первой степени на Всероссийском книжном конкурсе (1977 год).

Мастер был сознательно архаичен, его станковая графика лишена конкретных примет времени, ибо художника прежде всего интересовали изначальные категории чувашской духовности, проявление национального характера.

Честный художник задыхался от тщеты своих одиноких усилий; на немногих выставках, в которых ему довелось участвовать при жизни, работы Миттова «сминались» огромными разукрашенными холстами мэтров. Ему отказывали в основном праве художника — праве выражать по-своему понимание прекрасного.

...Остались холсты, листы картона и бумаги. Хрупкая темпера, которая может осыпаться, трепет сердца — в линии, в сложно выстроенном цвете. Миттов прошел свой путь мужественно и достойно.

Атнер ХУЗАНГАЙ



КАЧЕЛИ.
1970.

ТРЕТИЙ РАЗГОВОР

Бывший председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР К. М. ХАРЧЕВ беседует с писателем Александром НЕЖНЫМ.

Константин Михайлович, сегодня у нас с вами третья встреча на страницах «Огонька». Две предыдущие были в прошлом году, и, судя по отзывам, читатели приняли их с большим интересом. Его причина понятна: отношение государства к церкви и верующим, свобода совести как одно из основных прав человека, законодательство, определяющее степень религиозной свободы,— все это долгие годы, а по сути, без малого семь десятилетий, было сопряжено с самым откровенным и жестоким насилием власти над религиозными чувствами народов нашей страны. Вот почему любые положительные перемены в этой области нашей жизни и у нас, и, насколько я знаю, за рубежом воспринимаются как вернейший показатель реально осуществляемой перестройки. А тут — и это год от года становилось все очевидней — пошел процесс, захватывающий практически все стороны государственно-церковных отношений, постепенно выводящий церковные организации из-под явного и тайного контроля и вкупе со всеми демократическими переменами в жизни страны в конечном счете обещающий нам действительно свободную церковь. Вы, Константин Михайлович, много потрудились для того, чтобы все это совершилось. Вместе с тем — по большому счету — были сделаны лишь первые шаги, и впереди оставался (и остается) непочатый край трудной, но такой нужной для общества работы. И тут...

— Вы хотите сказать — и тут Харчева снимают?

— Именно так.

— Уточняю: меня перевели на руководящую работу в МИД СССР, и теперь решается вопрос о моем назначении послом в одну из стран. Напомню, что до моего назначения в Совет по делам религий я был Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Кооперативной республике Гайана.

— Ваша судьба отчасти напоминает судьбу героя романа Александра Бека «Новое назначение» — только с обратным, так сказать, служебным движением. Он — из министров в послы (новое назначение!), вы — из послов в председатели Совета по делам религий. Новое назначение, которое продлилось...

— Четыре с половиной года. 15 ноября 1984 года был назначен, нынешним летом освобожден в связи с переходом на другую работу...

— Человек и министр сталинского времени, Онисимов оказался не ко двору наступающей оттепели и вынужден был принять новое назначение. Но с вами-то, Константин Михайлович, все совершенно наоборот! Насколько я могу судить, вы были очень ко двору перестройке именно в качестве председателя Совета по делам религий. Кому и зачем понадобилось отрывать вас от дела, которое вы так успешно повели?

— Я бы не стал давать своей деятельности столь высокую оценку. В моей работе было всякое, были и ошибки, за которые я сейчас себя беспощадно ругаю. Но, чтобы ответить на ваш вопрос, нам, я думаю, следует сказать несколько слов о кадровой политике аппарата. Кадровая политика — едва ли не решающее орудие в его руках. Ставка на свои кадры определилась не вдруг, не сегодня — она прослеживается едва ли не с тех самых пор, когда партия большевиков стала единственной и правящей партией в нашей стране. Со свойственной ему склонностью к броским формулировкам Сталин сказал, и сказал далеко не случайно, что кадры решают все. Любой закон, как бы ни был он совершенен, можно толковать с теми или иными допусками. А несовершенный, каких у нас на сегодняшний день подавляющее большинство! Отсюда понятное стремление аппарата располагать своими людьми на всех более или менее значимых для общества и государства постах. Это ключевой вопрос, это вопрос власти в ее реальном содержании. Несомненно, качество законов имеет чрезвычайно важное значение. Но не менее важное значение имеет и качество исполнителей. Вполне ли они независимы от всякого рода влияний извне, в том числе и от влияния аппарата?! Механизм подбора, расстановки и управления кадрами достаточно тонок и сложен...

— Будем считать, что в вашем случае он допустил сбой? Вышла ошибка?

— Всегда возможны ошибки в системах, где, помимо логики и расчета, действуют эмоции. Когда меня назначали в Совет по делам религий, моя кандидатура, я думаю, не вызывала сомнений. Комсомольский, затем партийный работник (я был секретарем Приморского крайкома КПСС по идеологии), выпускник двух академий — общественных наук при ЦК КПСС и дипломатической, посол — такой не подведет. Не должен подвести.

— Честно говоря, на первых порах ваша деятельность оценивалась вполне однозначно, как продолжение линии предыдущих председателей Совета Карпова и Куроедова — полное подчинение церкви государственной власти. Да ведь, судя по вашему послужному списку, иного ожидать было трудно. Проблемы государственно-церковных отношений вам были неведомы, воспитание, полученное вами, побуждало вас относиться к церкви и верующим с тем угрюмым прищуром, какой еще и сейчас характерен, увы, для большинства советских и партийных работников, а полученные вами при вступлении в новую должность установки вряд ли изменили эту позицию.

— Не спорю. Я плоть от плоти аппарата, но я — быть может, неожиданно и для самого себя — пережил известную метаморфозу, изменение взглядов, переоценку некоторых, казалось бы, незыблемых принципов. Опережаю возможный вопрос: я как был, так и остался убежденным материалистом. И я всецело разделяю мысль Маркса, что лишь социальное несовершенство земной жизни побуждает человека искать утешения на небе. «Это государство,— говорит Маркс,— это общество порождают религию, *превратное* мировоззрение, ибо сами они — *превратный* мир». Но встречи с верующими, близкое знакомство с их нуждами, картина действительного положения церкви мало-помалу привели меня к осознанию необходимости существенных перемен. Если представление о Боге помогает человеку жить и трудиться в этом трудном и сложном мире, то никто не имеет права лишать его этого живительного глотка кислорода. Кстати, это тоже Маркс — глоток кислорода для угнетенной твари. Говорят: у нас не может быть угнетенного человека! Да ничего подобного! Быть может, самое страшное угнетение — духовное: когда человеку не позволяют верить в его идеалы, когда у него отбирают его святыни, когда его — советского гражданина — могут преследовать лишь за то, что он верующий.

— Скажите, Константин Михайлович, а раньше — до Совета по делам религий — вам приходилось читать Библию?

— Нет. Я стал ее читать, уже будучи председателем Совета, и теперь знаю, что она останется со мной до конца моих дней. Библия, Коран дали мне исключительно много. Кто-то из великих сказал: я не верю в Бога, но полностью разделяю морально-нравственные идеалы христианства. Я не колеблясь повторю эти слова в любой аудитории. Если мы **на деле** ставим общечеловеческое выше всего, то мы должны найти нечто союзнически-ценное в религии.

— Все-таки, Константин Михайлович, аппарат в вашем случае, как говорится, дал маху. Но, впрочем, как можно было угадать, что в вас сохранилось живое сердце...

— Примерно через год мы в Совете двинулись, как мне кажется, в правильном направлении. Простое — простейшее! — требование: написано в Законе — исполни! Позднее мы вышли на более широкую и глубокую постановку вопросов, но тогда даже элементарное требование соблюдать законодательство, которое, по сути, существует с двадцать девятого года и которое со всех сторон жестко ограничивает церковь и верующих,— одно лишь это требование вызвало сначала недоумение, а затем и негодование.

— Стало труднее работать?

— Значительно. Причем, если раньше, когда я говорил с работниками аппарата на одном языке, когда все понимали меня и я понимал всех, у меня не было трений ни с кем из тех, кто имеет отношение к церкви,— ни с отделом ЦК КПСС, ни с «соседями» (так именуется у нас КГБ)...

— «Соседи»? Что ж, это не только мило, но и откровенно.

— ...то теперь начались столкновения. Прежде всего встали на дыбы первые лица в областях и краях. А поскольку они тесно связаны с аппаратом, то стали давить на него — усмирите председателя Совета. И обвинение: неуправляем, потворствует церковникам, мешает идеологической работе. Позвольте, я говорю, мы всего лишь требуем выполнения законодательства и боремся с местным произволом! В Идеологическом отделе ЦК религиозными проблемами в то время занимались два-три человека. Они в основном и формировали позицию руководства по государственно-церковным отношениям. Так вот, когда они разобрались, что мы в Совете клоним к тому, что социализм и церковь совместимы, то всякое понимание между нами пропало. В самом деле, их практическая деятельность, их диссертации, статьи, монографии пронизаны мыслью, что религию невозможно примирить с социалистическим идеалом, что она причиняет вред нашему обществу и что с ней рано или поздно будет покончено. А перестройка поворачивает руль совсем в другую сторону! И, стало быть, им надо либо зачеркнуть все, что они делали, поднять руки и признаться: конъюнктура попутала! — либо отстаивать свои позиции. Они выбрали второй путь.

— Но, вероятно, сейчас в связи с перестройкой пришли новые люди?

— Нет. Все те же. А в ряде случаев, к сожалению, пришли еще более консервативные. Что же касается Закона, то если мы станем последовательно выполнять действующее на сегодняшний день законодательство о религиозных культах, то в подавляющем большинстве случаев у представителей власти не будет никаких оснований отказывать верующим в регистрации религиозных обществ и в открытии молитвенных зданий. И церковь, таким образом, начнет чувствовать себя все крепче, все увереннее, все свободней — так, как и должно быть в демократическом обществе. Но ожесточенный догматизм властей на местах и недовольство увеличением объектов, как они говорят, «враждебной идеологии» не могли не привести к разногласиям, принимавшим со временем все более резкий характер.

— Погодите, Константин Михайлович. Для всякого, кто пытается во всей полноте представить себе положение религии в нашей стране, повседневный контроль над церковью никаких сомнений не вызывает. Подобная практика начинается, по сути, сразу же после революции и в руках идеологизированного, атеистического государства становится одним из самых действенных средств для подавления, а затем и окончательного искоренения религии в нашей стране. Природа этого стремления имеет в себе нечто иступленно-богоборческое, можно даже сказать — сакральное, но навыворот, с подменой идеи, с установкой на уничтожение священного. Отсюда ощутимый момент глумления над человеком, предметом или смыслом культа, словно акта уничтожения недостаточно и его необходимо всемерно усилить злобным безобразием. Семьдесят лет нашей истории дают, к несчастью, великое множество примеров подобного рода, из

которых, должно быть, самые невинные — «комсомольские праздники Рождества и Пасхи» начала двадцатых годов с их оскорбительными для чувства верующих лозунгами, шествиями, частушками. «Радуйся, о, Марксе, великий чудотворче» — этими словами сотрудник тогдашних «Известий» завершает восторженный репортаж о «комсомольском Рождестве — первой в мире глубоко массовой антирелигиозной демонстрации». Был бы Маркс и в самом деле рад, наблюдая, как осуществляется, говоря его словами, «упразднение религии»?

Размышляя над всем этим, ловишь себя на ощущении, что причинно-следственные связи (в том числе пагубные для Русской православной церкви последствия раскола и принесшее ей немало вреда положение церкви государственной в царской России) не дают какого-то последнего объяснения. И поневоле возникает мысль, что столь беспощадна по отношению к религии может быть только антирелигия, объявившая войну храму, костелу, мечети и синагоге. В такой войне необходима своего рода инквизиция, роль которой последовательно выполняли соответствующие отделы ГПУ, НКВД и КГБ.

— Я объясняю все это по-другому. Недоброжелательная позиция руководства Русской православной церкви по отношению к молодой Советской власти вынудила государство на ответные меры. В дальнейшем же начались извращения ленинских принципов, выраженных в «Декрете об отделении церкви от государства и школы от церкви».

— Пусть будут извращения... Хотя, честно говоря, если они продолжаются семь десятилетий, их и определять надо как-то по-другому. В «Огоньке» напечатана статья полковника КГБ в отставке Я. Карповича, в которой, в частности, идет речь о вмешательстве КГБ в дела церкви. Я знаю, что в бытность свою председателем Совета по делам религий вы пытались вывести ваше ведомство из-под руки «соседей». Но вопрос тут вот в чем: зачем этот надзор нужен вообще?

— Для чего многие у нас пытаются сохранить административную систему? Государственный надзор за религией, рычаги давления на религиозные организации есть немаловажная часть этой системы, и лишь общий и решительный ее демонтаж освободит церковь от всякого рода вмешательств извне. Справедливости ради отмечу, что определенные шаги в этом направлении уже предприняты новым руководством КГБ. Этой же цели могли бы послужить и наши предложения вообще ликвидировать Совет по делам религий, образовав вместо него соответствующую комиссию в Верховном Совете СССР. Кстати, такая практика существовала в первые годы Советской власти.

— Это предложение, как говорят, и стало той последней каплей, которая переполнила чашу терпения аппарата?

— Может быть. Но я хотел бы обратить ваше внимание, что предложение об упразднении ведомства, исходящее от его руководителя, не такой уж частый случай в советской государственной практике.

— Я думаю, едва ли не единственный.

— Скажу еще, что в конце минувшего года Председатель Совета Министров СССР Н. И. Рыжков подписал подготовленное по нашей инициативе решение СМ СССР, в соответствии с которым численность Совета по делам религий сокращалась на 10 процентов и, кроме того, упразднялись должности двух заместителей председателя.

— Сколько у вас было заместителей?

— Три. Я предлагал оставить одного — по мусульманству. Высвобождаются средства, две машины, ликвидируются два никому не нужных бюрократических кресла — разве все это противоречит линии партии, духу перестройки? Так вот, хотя глава правительства подписал решение в декабре 1988 года, оба заместителя председателя Совета по делам религий работают по сей день. Решение принято, но не выполнено. Я даже с письмом в Совмин обращался, указав на вопиющую недопустимость подобного положения. Откровенно говоря, надо мной просто похохотали.

— Вы упомянули, что первый гром прозвучал над вами в конце восемьдесят седьмого в связи с докладной вашего заместителя, направленной в ЦК КПСС. Но ведь не за горами было 1000-летие Крещения Руси, государству (и, разумеется, партии) надо было определить свое отношение к этому событию. И ваша отставка в ту пору могла одновременно означать, что государство не намерено признавать 1000-летие национальным торжеством. Ибо вы настаивали на том, что эту дату следует отметить как общенациональный и общекультурный праздник, дающий людям драгоценную в наши тревожные дни возможность почувствовать себя единой семьей.

— По поводу 1000-летия у нас с некоторыми работниками Отдела пропаганды ЦК КПСС наметились серьезные расхождения. И записка зама — ни разу, кстати, не сказав мне, что не согласен с моими принципами и методами, он счел более удобным оповестить о моих «заблуждениях» Отдел пропаганды — стала для аппарата еще одним доказательством, что председатель Совета гнет не туда. Тогдашний заведующий Отделом пропаганды, Скляров, посчитав, что меня нужно освободить, направил материалы в Секретариат ЦК, но тогда его не поддержали. 1000-летие ясно выявило принципиальное расхождение мнений по важнейшей для судеб общества проблеме отношений к религии и верующим. Аппарат стоял на том, что для государства 1000-летие Крещения Руси никакого значения не имеет. Дескать, мы не запрещаем отмечать эту дату, но сами ее как бы не замечаем. Если бы такая точка зрения возобладала, то 1000-летие приобрело бы характер узкоцерковного события. Один из членов Политбюро в ответ на наше предложение в честь юбилея заложить в Москве храм отозвался достаточно резко. Новая церковь?! Зачем?! Пусть в Польше закладывают, а мы не будем. Нам удалось в конце концов довести свои предложения до Михаила Сергеевича Горбачева, который проявил к ним большой интерес и оценил их политическое и нравственное значение. Но аппарат своих поражений не забывает...

— А встреча М. С. Горбачева с Патриархом и членами Синода Русской православной церкви — тоже ваша идея?

— Нет. О такой встрече просили и Патриарх Пимен, и члены Священного Синода. Мы, со своей стороны, их просьбы поддержали. В том, что встреча состоялась, заслуга Михаила Сергеевича. Он сделал шаг, в значительной степени определивший политику в отношении церкви.

— Вы присутствовали на этой встрече; тысячелетняя годовщина принятия Русью христианства стала значительнейшим событием в жизни общества. Ваша линия, таким образом, получила очевидную поддержку. И тем не менее...

— Это еще раз доказывает одно...

— Силу аппарата?

— Да. И еще: насколько тяжело и непросто даются реформы. Ведь у перестройки, как известно, не только сторонники... Католики Винницы требуют, чтобы им вернули костел, местные власти — ни в какую, уполномоченный Совета по делам религий, бывший секретарь райкома партии, на их стороне. И видели бы вы, как он был счастлив, когда узнал, что я уже не работаю! Он получил предметное доказательство своей правоты и подтверждение своего права по-прежнему пренебрегать законными требованиями верующих.

— Я знаю многих партийных и советских руководителей, уполномоченных, которые восприняли перемены в Совете по делам религий, как принято говорить, с чувством большого внутреннего удовлетворения. Вы были им чрезвычайно неприятны, но подобное отношение, мне кажется, должно вызывать у вас ощущение работника, добросовестно исполнившего свой урок. Вас, к примеру, терпеть не могут многие руководители Иванова.

— Они нарушили закон и полагали, что мы не обратим на это внимания...

— Честно говоря, ничего особенного с ними не случилось. Ну, выпили они свою чашу общественного позора, но ивановские товарищи, кажется мне, убеждены в том, что стыд не дым — глаза не выест. А вот если бы они ответили в судебном порядке за нарушение закона, за издевательство над верующими, тогда, я уверен, и у них, и у всех, кто с ними заодно, сильно бы поубавилось охоты нарушать норму закона, унижать народное чувство. Да, они вынуждены были вернуть храм верующим. Но посмотрите, какими унизительными условиями они это обставили! Покойников в храме — не отпевать. Отчего, спросите вы? Да потому, видите ли, что Введенская — Красная — церковь находится в центре города. Но позвольте, почему последний путь усопших наших отцов и матерей должен пролегать по окраинам и задворкам? Почему сами себя руководители имеют обыкновение погребать с большой помпой и прощание с мертвыми их телами происходит, как правило, в самом центре наших городов? Почему Суслова и Брежнева можно хоронить в историческом центре России — на Красной площади? А на ивановского труженика власть цыкает и по кончине его, бесстыдной рукой указывая путь, каким ему следовать к могиле. И это в стране, подписавшей Венские соглашения! Я уж не говорю, что находящиеся в ограде храма помещения, которые сейчас пока еще занимает научно-реставрационная мастерская, решено передать музею. Словно нет в городе другого здания и другого места! Как это все понимать?

— Я уже сказал: работники аппарата своих поражений не забывают. Это неприкрытая месть верующим, а также всем, кто поддерживал их справедливые требования.

— Месть — народу?

— Интересы народа — экономические, социальные, политические — и интересы работников аппарата не всегда совпадают. Разрыв между ними и привел нашу страну к кризису.

— Вернемся, Константин Михайлович, к вашей судьбе. Я заранее прошу прощения за неприятный вопрос, но задать его вам я должен. Вас стремились представить человеком, нечистым на руку,— знаете ли вы об этом?

— Если бы я знал, кто именно распускает слухи, порочащие мою честь и достоинство, я бы подал на него в суд. Одно письмо, обвиняющее меня в том, что я за счет церкви обставил квартиру, стало предметом довольно длительного разбирательства в Комитете партийного контроля при ЦК КПСС. И всем в то время было известно, что Харчев наконец пойман. По счастью, у меня сохранились документы, подтверждающие, что моя мебель приобретена на полном законном основании. Когда все это выяснилось, я спросил: кто оклеветал меня? Ответа не было и нет. И последнее, чтобы покончить с этой темой,— меня бы, я полагаю, с большущим удовольствием убрали бы за какой-нибудь очевидный промах, тем более — за корыстное использование служебного положения. В этом случае один из членов Политбюро не беседовал бы со мной дважды по полтора часа, пытаясь объяснить мне, почему я должен уйти.

— И почему же?

— Вот и я спросил: почему? Я спросил: быть может, линия, которую проводил я, как председатель Совета по делам религий, не соответствует взятому партией курсу на перестройку? Нет, ответил мне он, в этом вас упрекнуть нельзя. Тогда в чем же, спросил я, заключаются мои ошибки? Ответ был таков: не нашел общего языка с идеологическим аппаратом, «соседями» и руководством Русской православной церкви. Я попытался узнать, что это означает. Услышал, в частности, о кришнаитах...

— Выходит, их регистрация и тем более их паломничество в Индию вам откликнулось?

— И еще как... Их регистрация как религиозного общества была сопряжена с очень большими трудностями. За кришнаитами шла форменная охота, их арестовывали, судили, отправляли в лагеря. И все это — не в какие-то сталинские времена, а всего лишь несколько лет назад, можно сказать, в наши дни. Таким образом, признать кришнаитов — значит признать, что процессы против них не имели под собой законного основания. Иными словами, признать, что был допущен произвол.

— Можно понять, отчего вы перестали устраивать ответственных работников ряда ведомств. Но какие могли быть к вам претензии со стороны Синода Русской православной церкви?

— Боюсь, что я не смогу достаточно внятно ответить на этот вопрос. Мне известно, что весной нынешнего года некоторые члены Синода побывали у руководства Верховного Совета СССР. Они, как было мне сообщено, жаловались на стиль и методы моей работы, на то, что я вмешиваюсь в управление Русской православной церковью. Два обстоятельства обращают на себя внимание в данном случае. Первое: все было сделано за спиной Патриарха Московского и всея Руси Пимена, которого члены Синода вопреки сложившимся обычаям и канонам не сочли необходимым поставить в известность о своих намерениях. Я уже не говорю о том, что с их стороны не было даже попытки высказать свои обиды мне в лицо, хотя они прекрасно знали, что я готов в любое время с максимальным вниманием и уважением выслушать каждого из них или всех вместе. И второе: не надо быть семи пядей во лбу, чтобы не понять, что такая во всех отношениях беспрецедентная встреча стала как бы итогом определенной подготовки.

— Но все-таки: у вас есть версия, которая бы проливала свет на поступок членов Синода?

— Думаю, что это в какой-то мере связано с обострившейся в последнее время в верхушке церкви борьбой за преемственность власти. Я не скрывал от членов Синода, что всецело поддерживаю линию Патриарха Пимена в кадровых вопросах. Они же, со своей стороны, были, вероятно, не вполне с ней согласны. Кроме того, поскольку Русскую православную церковь не может не волновать важнейшая проблема преемственности руководства, я — опять-таки не скрывая своего мнения от синодалов — поддерживал идею альтернативных, демократических выборов в духе Поместного собора 1917—1918 годов. Ведь не секрет, что последние патриархи Русской православной церкви были не столько выбраны, сколько назначены под сильнейшим давлением государственной власти.

— Это беда не только Русской православной церкви.

— Разумеется, она в данном случае не представляет исключения. Бывший председатель духовного управления

мусульман Средней Азии Бабаханов — буквально свергнутый верующими в нынешнем году — был при Рашидове поставлен властями на этот пост, несмотря на отсутствие должных нравственных качеств и слабую богословскую подготовку. Вот почему я настаивал на необходимости альтернативных, свободных, истинно демократических выборов на всех уровнях руководства во всех церквах нашей страны, в том числе и в Русской православной церкви. Подозреваю, что некоторые члены Синода по старой привычке больше рассчитывали на поддержку власти, чем на свой авторитет в церкви. Вообще на основании опыта своего общения со многими священнослужителями я пришел к выводу, что в бездуховном обществе — а мы, по сути, лишь начали, лишь пытаемся выбраться из состояния всеобщей бездуховности — верхушке церкви чрезвычайно трудно сохранить свое нравственное здоровье. Я думаю также, что есть священнослужители, которые вообще хотели бы обойтись без перестройки в государственно-церковных отношениях. Вот вам пример, доказывающий, мне кажется, правоту этого утверждения. В те дни, когда в Иванове шла голодовка верующих, требующих возвращения храма, в Москве заседал Священный Синод Русской православной церкви. С моей точки зрения, было бы совершенно естественно, если бы он принял обращение к правительству страны — с тем, чтобы оно потребовало от ивановских руководителей безусловного выполнения Венских соглашений. Синод отмолчался. Во Дворце съездов ни единого слова не сказали об этом и вообще о нуждах верующих народные депутаты СССР — священнослужители.

Фото И. ГНЕВАШЕВА, Ю. ПЕТШАКОВСКОГО и Л. РЕНИКА

— Во многом признавая справедливость ваших горьких упреков, я хотел бы, Константин Михайлович, взглянуть на эту проблему с несколько другой стороны. Если в дореволюционной России церковь была связана своим государственным положением, то в России Советской молчание стало для нее условием выживания. Да, Советское государство не смогло уничтожить церковь, хотя на первых порах как будто бы весьма преуспело в этом. Но зато оно сумело создать тип священнослужителя, либо вынужденно, либо вполне добровольно повинующегося земному более, чем небесному. «...иерейские ризы,— сказано в одном стихотворении священника Глеба Якунина, не пожелавшего молчать и заплатившего за слово правды годами брежневских лагерей,— в которых уже не обличали, служили Богу без риска». Это ни в коем случае не означает, что в Русской православной церкви не было мужественных людей, готовых до конца отстаивать свои убеждения. Они были всегда — и в страшные годы беспощадной войны, которую власть вела против церкви, и в недавние тяжкие времена административного насилия. Отец Глеб — лучшее тому подтверждение.

— Я давно с ним знаком и отношусь к нему с большим уважением.

— Проект Закона о свободе совести еще даже не опубликован для всенародного обсуждения, хотя разговоры о нем ведутся чуть ли не десять лет.

— У него своя, очень непростая история. В свое время Политбюро ЦК КПСС определило, что Закон должен соответствовать Венским соглашениям. Шесть ведомств — Совет по делам религий, МИД СССР, Министерство юстиции СССР, КГБ, МВД СССР, Прокуратура СССР — должны были подготовить проект и передать его на рассмотрение в Верховный Совет СССР. Не буду подробно рассказывать о том, как шла работа над проектом. Скажу лишь, что Совет по делам религий привлек к ней представителей, по сути, всех существующих в нашей стране религиозных конфессий. Их поправки — а среди них я хотел бы отметить весьма дельные замечания Синода Русской православной церкви, председателя Совета церкви адвентистов 7-го дня РСФСР М. П. Кулакова и деятелей других церквей — мы учли. И вот, когда наконец все шесть ведомств подписали проект Закона, выяснилось вдруг, что он должен еще пройти идеологическую комиссию ЦК КПСС. Почему? — спросите вы и справедливо укажете, что если уж непременно нужна комиссия ЦК, то комиссия правовая. Тут тоже все не так просто. С одной стороны, существует прямое указание Политбюро, что Закон должен соответствовать Венским соглашениям. С другой — нельзя не учитывать стремление сохранить реальные рычаги власти над церковью. И с третьей — у многих наших идеологических работников сохраняется убеждение, что происходящая сейчас демократизация государственно-церковных отношений нужна лишь для украшения фасада нашего общества и что в конце концов возобладает прежняя политика, которая все поставит на свои места.

Иными словами, нельзя откровенно саботировать выполнение решения Политбюро, но тормозить можно. Что же касается самого Закона, вернее — его проекта, то скажу, что мы стремились провести следующие основные принципы. Первый: свобода обучения основам религии. Второй: предоставление церкви права юридического лица, благодаря которому она может опротестовать через суд любое ущемляющее ее интересы решение власти. Здесь основа подлинной независимости церкви,

ее действительного отделения от государства. И третий принцип: работники церкви уравниваются во всех без исключения правах с остальными гражданами СССР. И, наконец, свобода пропаганды и распространения религиозных учений. Я как коммунист глубоко убежден, что, если мы осуществим все это, партия восстановит свой авторитет в глазах наших верующих сограждан.

— Мы с вами, Константин Михайлович, не так давно были в Лондоне, на Всемирном конгрессе религиозной свободы, и там еще раз могли убедиться, сколь важное значение придают во всем мире основополагающему праву человека — праву на свободу совести. «Теряя религию,— заметил, как вы, должно быть, помните, генеральный секретарь Всемирного альянса баптистов Дентон Лотц,— мы теряем душу». Я с ним совершенно согласен. И вот, бросая, так сказать, взгляд из Лондона на положение церкви и верующих в нашем Отечестве, я не возьмусь утверждать, что Советское государство встало на путь одинаково нейтрального отношения как к религии, так и к атеизму. Государственный атеизм — как часть командно-административной системы — и не думает сдавать своих позиций. В этой связи не могут не привлекать внимания первые шаги сменившего вас на посту председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР Ю. Н. Христораднова.

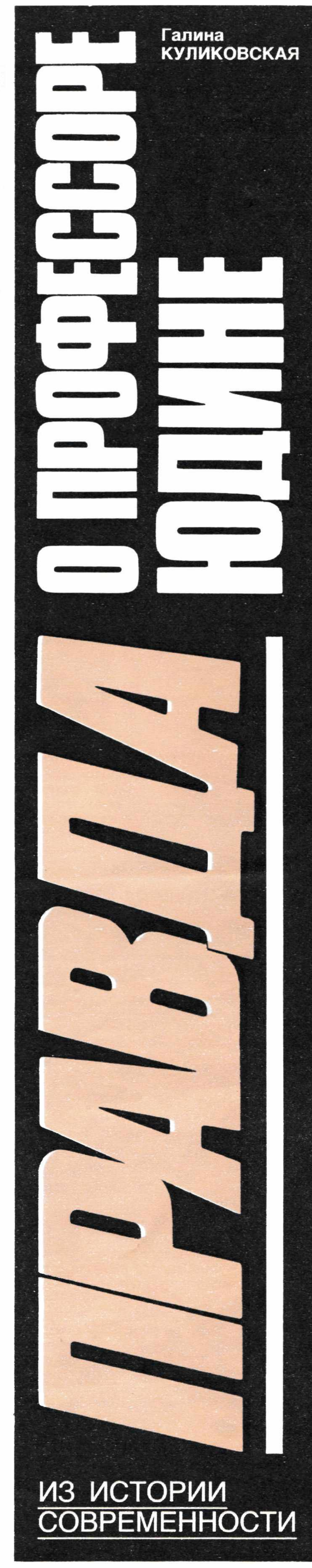
— Не зная деловых и личных качеств Юрия Николаевича Христораднова, я не берусь давать какие-либо оценки его деятельности. Да и согласитесь, что это было бы не совсем этично в моем положении. Но я не думаю, чтобы тот или иной человек, даже находясь на посту председателя Совета по делам религий, мог изменить взятый партией курс на демократизацию отношений к церкви и верующим. У нас попросту нет иного выхода. Закон о свободе совести у нас будет, я в этом нисколько не сомневаюсь, и будет именно в духе Венских соглашений.

В духе Венских соглашений надо, наконец, решить проблему униатов. Это очень непростой, наболевший вопрос, и он нуждается в новых, свободных от старого мышления подходах. Перед государством равны все церкви. Не должно быть любимых церквей и церквей-падчериц. Униатскую церковь мы не можем не признавать, даже если исходить из законодательства 29-го года,— другого здесь нет. И сейчас думать надо над тем, как политически обеспечить этот шаг — так, чтобы он не привел к нестабильности и конфронтации между сторонниками обеих церквей.

Важно, кроме того, понять, как строить государственно-церковные отношения дальше. Возьмем, к примеру, благотворительную деятельность. Если понимать ее главным образом как создание бесплатных столовых и оказание помощи нуждающимся, то, боюсь, мы тут продвинемся не очень далеко. Я уверен: для настоящей благотворительной деятельности нужна крепкая материальная база, в виде, быть может, принадлежащих церкви (и Русской православной, и католической, и церкви адвентистов, и мусульманским общинам) фабрик по производству детского питания, клиник, сельскохозяйственных кооперативов и так далее... Нужны современная полиграфия, реставрационно-строительные подразделения, программы борьбы с алкоголизмом, наркоманией, курением. Тут огромное поле деятельности, столь необходимой всему нашему обществу, всему народу. И, где бы я ни работал, я постараюсь помочь этому благородному делу.

— Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить вас, Константин Михайлович, с присуждением почетного диплома Всемирной организации религиозной свободы — в знак признания ваших заслуг в защите прав человека и религиозной свободы.

— Спасибо.



ПРАВДА О ПРОФЕССОРЕ ЮДИНЕ

Галина КУЛИКОВСКАЯ

ИЗ ИСТОРИИ СОВРЕМЕННОСТИ

Сергей Сергеевич Юдин... Человек, благодаря которому Московский институт имени Склифосовского еще в тридцатых — сороковых годах превратился в хирургическую Мекку. Сюда, чтоб посмотреть на его работу, работу художника-хирурга, простую, как кто-то однажды выразился, до гениальности и гениальную до простоты, стремились знаменитейшие мастера рукодействия Европы и Америки. И не только коллеги. «Что за чудесный день сегодня! — воскликал Хьюлетт Джонсон, настоятель Кентерберийского собора.— Я увидел операции волшебства... Какое величие кроется в идее, что еще живущая кровь мертвого человека переливается еще живому, страждущему по ней!»

Профессора Юдина мечтали видеть своим гостем лучшие клиники мира. «Я храню горячее желание и надежду, что вы посетите нашу страну... и тогда, когда вы приедете, вы сможете занять мое место в качестве главного хирурга Питер Бент Бригхам больницы... Многие из наиболее знаменитых передовых хирургов занимали этот пост... на время. Тем самым вы добавите свое знаменитое имя к тем, которые уже значатся в этом списке»,— писал профессор хирургии Гарвардского университета Эллист К. Кетлер Юдину в апреле 1946 года.

Однако ни в том году, ни в последующих Юдин так и не смог воспользоваться столь лестным приглашением: Юдина постигла участь лучших талантливых умов отечества, ставших жертвами сталинизма. Об этом до недавнего времени, как о чем-то якобы компрометирующем знаменитого хирурга, умалчивали его биографы. Ни слова о трагедии, разыгравшейся в 1948 году, в многочисленных эссе писателей, философов, социологов, ему посвященных и опубликованных в более поздние годы...

22 декабря 1948 года. В тот день в Большом театре шел «Борис Годунов», и он не мог отказать себе в удовольствии послушать свою любимую оперу. Друзья, видевшие, как с каждым часом сгущаются над ним грозовые тучи, советовали: «Домой не возвращайся». Но он, конечно, не прислушался: «Глупости все это! Я ни в чем не виноват. Моя совесть чиста». Дома, помешивая чай, он все еще был под впечатлением музыки и блистательно исполненных арий, ведь пели Максакова и Пирогов, когда зазвонил телефон. Министр — а им был тогда Е. И. Смирнов — не мог не знать, в какую западню толкает этого слишком самоуверенного, по его мнению, знающего себе цену хирурга,— спрашивал: не мог ли бы он, Юдин, проконсультировать сейчас одно высокопоставленное лицо?

Юдин и на этот раз не увидел в этом ничего необыкновенного: привык к поздним и ночным вызовам. Он не успел и чаю допить, как в дверь уже звонили. Не переодевая костюма, как был, набросил на плечи пальто и, забыв о шарфе, спустился вниз. Забыл при этом даже свои очки, без которых он, как человек близорукий, не хирург...

У подъезда во дворе уже стояла машина. Черная.

Н. В. Хорошко, работавшая в институте хирургом. Это было страшное время. В 48-м объявили буржуазной лженаукой кибернетику, «запретили» генетику, уволили, изгнали из институтов и университетов сотни ученых. Следом громили группу театральных критиков, обвиняя их во враждебном безродном космополитизме... Нервы были у всех на пределе. В ту роковую ночь я была ответственной дежурной во 2-й клинике. Тяжелые послеоперационные больные. Ни одной свободной минуты. И все же не могла не обратить внимания на то, что весь верхний этаж зелененького дома, в котором жили и Юдины, ярко освещен. Подумалось, что, вероятно, Виноградовы, которые получили недавно ордер на новую квартиру, готовятся к переезду. Только под утро Нюша, наша санитарка, разузнала, что Сергей Сергеевич арестован. И добавила: «Говорят, что он шпион, собирался в Англию улететь».

Для меня, для моего мужа это было горе несказанное, непоправимое. Дмитрий Алексеевич Арапов — ученик Юдина, и все мы ученики Сергея Сергеевича. Мы оба очень любили его. А я его просто обожала. Женщин-хирургов он называл рыцарями хирургии. С Юдиными у нас уже давно установились добрые отношения. Сергей Сергеевич был крестным отцом нашей дочери. Сам своими руками сделал из золотой пластины, выпрошенной у Наталии Владимировны, крестик и выбил на нем имя дочери — «Света». Ведь он умел все делать своими необыкновенными руками, даже вышивал когда-то. Именно так воспитывались в семье Юдиных все дети, в уважении к любому труду, к человеку любого труда. Он запросто мог поцеловать простой нянечке руку, если она того заслужила, что очень коробило кое-кого в институте. И вдруг он — шпион? Чудовищно и нелепо! Ведь, кажется, совсем недавно, в том сорок восьмом, мы поздравляли его с присуждением второй Сталинской премии.

Уходя с дежурства, я столкнулась у ворот с Наталией Владимировной Юдиной. Бросилась к ней. Она остановила меня жестом: «Вы не боитесь ко мне подходить?..»

Из протокола от 23 декабря 1948 года, подписанного женой арестованного Юдиной и дежурным комендантом Самерхановым.

«Изъято для доставления в МГБ следующее: (в том числе)

29. Шпага.

. . . .

34. Мантия Английского королевского хирургического общества.

35. Мантия Американского хирургического общества.

36. Знак ученого достоинства Сорбонны.

. . . .

45. Плиты медные с памятника Блюхера.

. . . .

47. Письма английского посла в Москве М. Керра.

48. Листовка партии кадетов.

. . . .

56. Манифест к Всероссийскому крестьянству ЦК эсеров.

57. Газета «Известия» со статьей Радека.

. . . .

На другой день все уже знали, что арестована и Мария Петровна Голикова, которую все запросто звали Мариной, операционная медсестра, ближайшая помощница Юдина не только во время операции. Эта энергичная, умная женщина вела его деловую переписку, отвечала на письма, фотографировала больных, могла сесть при случае за руль «хорьха», его автомобиля. Вместе с главным хирургом института, каковым был Юдин, выезжала в составе бригад хирургов на фронт. Была награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны.

Е. В. Потемкина, профессор, доктор медицинских наук, дочь хирургической медсестры М. П. Голиковой. Я была тогда студенткой. Мы жили на Каланчевке, в угловом доме, который был напротив гостиницы «Ленинград». Коммуналка. В квартире восемнадцать комнат. В одной из них мы: мама, папа и я. В ноябре к нам пришли два каких-то молодых человека. Говорили про каких-то грабителей, которых якобы ищут. Что будет устроена засада. 21 декабря был день рождения Сталина,

а в ночь с 22-го на 23-е — стук в дверь. На пороге Хомутов, дворник. За ним милиционеры. Якобы проверка документов. А маме сразу предъявили ордер на арест. «Одевайтесь!» Она собиралась медленно. Наденет одно, потом меняет на другое. Тянула время и повторяла, что это недоразумение. Очень не хотелось ей уходить. На прощание поцеловала нас, и ее увели. Начался обыск. Перевернули все вверх дном. На полу лежала старая шкура барса. На всякий случай размозжили его голову. Все искали. А что? И «нашли»: «Экономику переходного периода» к тому времени уже расстрелянного Бухарина, сочинения Мережковского, Пшибышевского, «Ад» Данте с дарственной надписью Сергея Сергеевича, «По ту сторону добра и зла» и «Заратустру» Ницше. Забрали наши жалкие драгоценности — кольца и часы из «желтого металла». Все описали. Обыск продолжался до пяти часов дня. Когда меня наконец выпустили, я в полном недоумении и негодовании побежала за защитой к Юдиным. Звоню — за дверью мертвая тишина. Там, оказывается, все еще продолжался обыск. Даже стены выстукивали. Разгром в квартире был полный. Я сразу же налетела на майора госбезопасности, впустившего меня: «Как вы можете так поступать с человеком, который спас тысячи жизней?!» «Мы знаем, как он оперировал: выпускал кишки». «А кто вы такая? Документы!» — сурово спросил полковник, стоявший в кухне, залитой ослепительным светом. Назвалась и услыхала угрожающее: «Еще неизвестно, удастся ли вам закончить институт при таком настроении». Это означало, что все всерьез, что это — не «недоразумение».

Почти целый год мы с отцом ничего не знали о маме. Бегали наводить справки на Кузнецкий мост и слыхали неизменное: она под следствием. О Сергее Сергеевиче тоже ничего не было известно. Наконец 6 ноября вечером нам позвонили и сообщили, что Голикова будет отправлена по этапу и можно принести в Бутырку теплые вещи. Мы пришли девятого, решили, что не погонят же их в праздник, но мамы уже не было. Как я потом проклинала себя: ведь она ушла тогда в жакете, ботиках и шляпе. В дороге заболела воспалением легких.

О том же, как велось следствие и какими методами, можно судить по характеру жалобы, которую осужденная по статье 58.10 Мария Петровна Голикова направляла (и не один раз) Генеральному прокурору СССР.

Из жалобы М. П. Голиковой Генеральному прокурору СССР от 15 июня 1952 года.

«23/XII 1948 года я была арестована, а через несколько часов министр МГБ Абакумов мне объявил, что я арестована по делу бывшего профессора С. С. Юдина, который арестован раньше меня и во всех своих антисоветских преступлениях признался. На вопрос, знаю ли я его деятельность, я заявила: «Да, я его жизнь знаю, как свою, и расскажу все, что знаю». В первую же ночь на следствии начальник следственной части по особо важным делам полковник Комаров применил весь русский мат и заявил, что все мои показания ерунда, а если я не буду рассказывать о преступной деятельности Юдина, то меня будут пороть резиновыми палками, посадят в тюрьму мою дочь и мужа-жида (он русский) и прочие угрозы и страшные обещания, которые он мог обещать заключенной. Прошло несколько суток в кабинете следователя и абсолютно без сна в камере. Мои рассказы ни к чему не приводили, потому что я никогда не знала и не слышала о каких-либо преступлениях, проработавши с Юдиным 16 лет. Но угрозы не прекращались, силы терялись, а страх усиливался. Первый протокол, написанный и сочиненный следователем Ивановым. Но то, что там написано, этого никогда не было. Никогда!

После карцера, матерщины, галлюцинаций, которые меня преследовали, я решила давать вымышленные показания. Другого выхода у меня не было. Я спасала мою единственную дочь. Протоколы подписывала, в которых следователь «заострял» углы, и этим усугубляла суть дела, а на малейшее мое возражение я слышала одно и то же: «Что ж, опять в карцер пойдете!»

Давая такие показания, я верила, что разберутся и поймут всю нелепость и страшный бред. Через 11 месяцев мне зачитали приговор и, полураздетую, с параличом лицевого нерва, отправили в спецлагерь Северного Казахстана Карагандинской области. Там продержали один год и десять месяцев. 4 октября спецконвой меня доставил в центральную тюрьму Москвы в качестве свидетеля. Во внутренней тюрьме я просидела до 10.IV, писала опять прокурору, просила следователя вызвать меня на допрос, но никто меня не вызвал, а вскоре перевезли в Бутырскую тюрьму и 14.V зачитали опять решение Особого совещания — заменить 8 лет 5 годами. Дело пересмотрели без меня, и все клеветническое, вызванное насилием, осталось.

Я не нахожу себе оправдания за то, что не выдержала испытаний. Но я мать, которая ради единственной дочери, студентки и ныне уже хирурга, она сама уже мать и жена, я шла на такое тяжкое преступление, давая вымышленные показания на человека, от которого я никогда ничего антисоветского не слыхала. Участвуя во всех его научных работах и проводя все сложнейшие операции на фронте и в Москве в течение 16 лет, я считала своим долгом помогать, насколько хватало моих сил и небольших знаний, принимая за великую честь помогать ему в работах, которые поощрялись правительством...»

Эта пространная жалоба М. П. Голиковой дает возможность судить о том, как велось следствие.

Грубое нарушение процессуальных возможностей тяжело отразилось на здоровье С. С. Юдина. В одном из своих высказываний через несколько лет, сообщая о своих научных планах, он писал: «Не сочтите это (планы.— **Г. К.**) за старческую болтливость. До этого еще не дошло, хотя, конечно, за эти *трудные* (курсив мой.— **Г. К.**) годы я не помолодел. Лишь бы не подвел центральный мотор, который еще раз сильно грозился остановкой в начале января 1949 г.». То есть всего через пару недель после ареста. Первый инфаркт был на рубеже сорок первого и сорок второго, когда он категорически отказался покинуть Москву и институт, начальство которого сбежало, и продолжал оперировать раненых. Работал под бомбежками. Кстати, именно тогда в пред- и послеинфарктном состоянии он написал свой труд о применении сульфамидов при огнестрельном ранении, ставший настольным пособием для фронтовых госпиталей и полевых хирургов. Продолжал работать, писать Юдин и в одиночной камере на Лубянке и в Лефортове. Даже тогда, когда не давали ему спать и, лишая воды, заставляли подписывать протоколы.

О. И. Виноградова, хирург, ассистировавшая профессору Юдину во время операций. Можно себе представить, как Юдин, человек очень энергичный и деятельный, страдал в тюрьме. Ведь он был лишен возможности даже писать. Не было ни карандаша, ни бумаги. Сергей Сергеевич рассказывал, как однажды, будучи у следователя, не выдержал, и рука невольно потянулась к карандашу, лежащему на столе. Следователь, заметив это движение, саркастически воззлорадствовал: «Не вам принадлежит эта вещь — не берите». Юдин добывал карандаш ценой голодовки и в конце концов добился его. Каждый день ему приносили газету, и он выбирал кусочки, где больше белого! Писал и на туалетной бумаге. Листик за листиком. Именно в те бесконечно долгие годы в невероятно тяжелых условиях им были написаны монографии по вопросам обезболивания, переливания посмертной крови, хирургии язвенной болезни. Он был уверен, что восторжествует правда, и этим жил. Не дремали и его друзья. Хлопотали. Пытались использовать все возможности для быстрейшего его освобождения.

Хлопотал и он сам. Об этом свидетельствует письмо Юдина, направленное по поводу пересмотра его дела. В нем были такие строки: «Я никогда враждебной деятельностью не занимался. Мое призвание — хирургия, ей посвятил свою жизнь и хотел бы продолжать заниматься ею в оставшееся время...»

Через три года и три месяца отсидки, без предъявления обвинений, без доказательств, подтверждающих подозрения, Юдина на всякий случай отправили в ссылку подальше от Москвы, в Новосибирскую область.

Из писем С. С. Юдина к родным.

«Г. Бердск, у впадения реки Берди в Обь, в 35 километрах от Новосибирска.

Мой домик — справа. Два угловых окна на улицу позволяли видеть Обь, протекавшую метрах в ста. Ледоход в 1952 году был очень бурный и продолжался суток трое. Два месяца я с жадностью перечитывал хирургические журналы за 3½ года. Читал часов по 12—14 в сутки».

«Дорогая сестра Галя!

Спасибо тебе за добрую память, за письма и внимание. Сугубое спасибо и земной поклон тебе за твои родственные заботы и теплое внимание к Наташе в годы ее одиночества. Я никогда этого не забуду.

Здесь, в Новосибирске, меня приняли очень хорошо, даже отлично, учитывая формальное положение мое как ссыльного. Ведь облздрав,— несомненно, по указаниям не только Западно-Сибирского обкома ВКП, но прямо по московским директивам,— приняли меня сразу не только в круг здешней многочисленной врачебной корпорации, но незамедлительно доверили операции женам первейших здешних политических и советских работников.

Разумеется, чисто операционная деятельность моя пошла тут сразу на самых высоких тонах и все больше и больше развивается. Вчера, например, за одно утро я делал резекцию желудка при язве, резекцию желудка при раке, искусственный пищевод и, под конец, тотальную гастроэктомию, т. е. полное удаление желудка при раке да еще с прежде наложенным соустьем, что, разумеется, еще более осложняло и без того крупное вмешательство. Слава Богу, до сих пор дела хирургические идут исключительно удачно, а популярность моя среди врачей, больных и начальства все возрастает. А это, несомненно, сможет сыграть немалую роль в моей окончательной судьбе.

Не знаю, какова эта моя дальнейшая судьба: то ли мечтать о возвращении в Москву и успешными научными работами прокладывать путь к возвращенью. То ли смириться с тем, что и Сибирь — наш родной край, страна исконно русского народа, край неизведанных, но несметных богатств и возможностей. Приложить остаток дней своих для культурного развития этого края — тоже соблазнительная и весьма почетная задача. Наташа тоже весьма склонна мысленно настраиваться на окончательное поселение здесь, в Сибири, поскольку теперь мы вместе, неразлучны, а с пользой дожить свой век везде можно.

Твой брат, Сергей».

В другом письме, брату, Петру Сергеевичу Юдину, он пишет:

«Дорогой брат Петя!

...Я оперирую очень много и неизменно удачно. Но не оперативная деятельность составляет мою главную цель и основную задачу. Самой главной гарантией моей полной реабилитации явились бы новые капитальные научные работы, опубликованные в форме монографий. Таких тем у меня несколько; о восьми крупных проблемах я подавал докладные записки в МГБ, и они-то, несомненно, и послужили причиной моего освобождения и отправки не в лагеря, а в крупный областной центр. Мне уже фактически разрешено жить и работать в самом Новосибирске.

На днях я получил чудесное письмо от Андрея Григорьевича Савиных. Он до того обрадован моему освобождению и приезду в Сибирь, что выражает это самым искренним и горячим образом. Недавно я говорил с ним отсюда по телефону; слышимость отличная. Он меня очень убеждает не торопиться с возвращением в Москву, дабы не обидеть новосибирские власти, которые отнеслись ко мне столь внимательно. Сам А. Г. настолько горячий патриот своей Сибири, что он решительно уговаривает меня остаться здесь окончательно и принять участие в культурном развитии этого необъятного, богатейшего и интереснейшего края, могущего стать одной из главных экономических баз для процветания и дальнейшего расцвета всей нашей страны. Савиных приглашает меня «на отстрел и на отлов нового урожая дичи и рыб». Ну, целую тебя крепко и желаю всякого счастья. Может быть, еще увидимся.

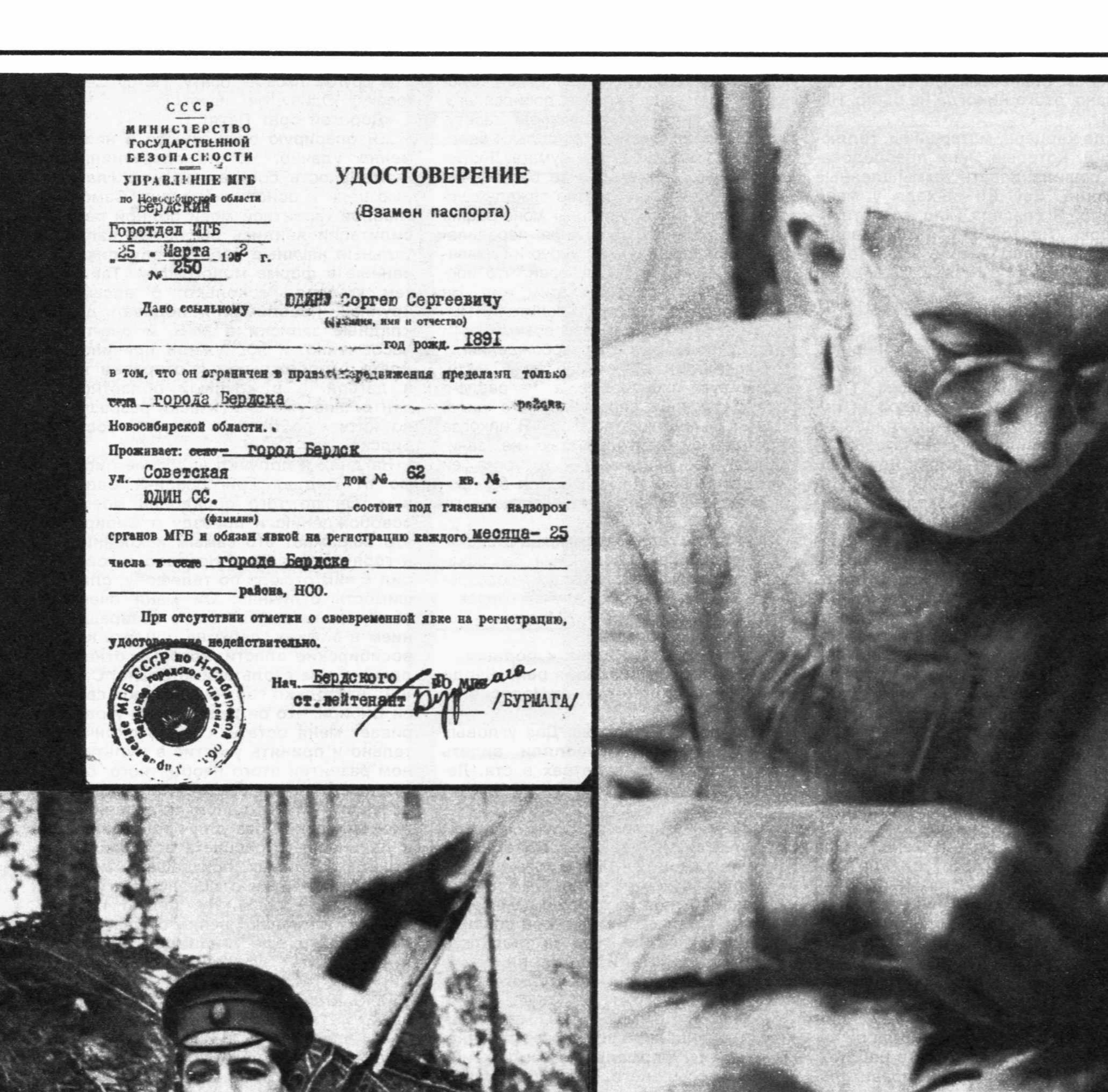
22.VI.52. С. Юдин».

И. Ю. Юдин, доктор медицинских наук, профессор, племянник С. С. Юдина. Я был уже аспирантом, когда дядю арестовали, и это трагическое событие косвенно отразилось и на мне. Вызывали, расспрашивали, действительно ли я являюсь родственником врага народа. Встал вопрос об отчислении из аспирантуры. В результате диссертацию защищал только через шесть лет, в 1954-м.

Помнится, осенью 1952 года МГБ вызвало Сергея Сергеевича для дачи каких-то показаний в Москву. Он жил в те дни на улице Мархлевского, у своего сына, но не мог воспользоваться этим. Ему очень хотелось пойти в свой любимый театр на «Бориса Годунова» — не разрешили. Нам, родным, нельзя его было навестить. За каждым шагом его следили, он находился под постоянным наблюдением, сопровождали, когда выходил на улицу.

В первых числах декабря умер Алексей Дмитриевич Очкин, известный московский профессор, всю жизнь работавший в Боткинской больнице. Дядя очень расстроился, когда узнал об этом. Ведь они были большими друзьями, компаньоны по охоте, спорту и рыбалке. Сергей Сергеевич запросил разрешение на то, чтобы попрощаться с другом. Дали его не сразу, сказали: «Мы вам ответим». И вскоре разрешили. Он пришел со своей «тенью» на Баррикадную, где в помещении ЦИУ состоялась панихида. С повязкой на руке он прошел в аудиторию, молча постоял у гроба, перекрестил усопшего и, не сказав никому ни слова, пошел к выходу. Узнав его, люди качнулись: «Живой!»... «Но от него же ничего не осталось! Скелет, обтянутый кожей!»... «Шея, как у ребенка»... «А с глазами, с веками что произошло?»... Когда уезжал в Сибирь, очень многие хотели провожать его. Был составлен целый список. Из всех учеников разрешили прийти на вокзал только Борису Сергеевичу Розанову.

Я был у дяди в Новосибирске, куда он наезжал из Бердска, каждый раз получая для этого разрешение. Отво-



СССР
МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
УПРАВЛЕНИЕ МГБ по Новосибирской области
Бердский Горотдел МГБ
„25" Марта 1952 г.
№ 250

УДОСТОВЕРЕНИЕ
(Взамен паспорта)

Дано ссыльному ЮДИНУ Сергею Сергеевичу
(фамилия, имя и отчество)
год рожд. 1891
в том, что он ограничен в праве передвижения пределами только ~~села~~ города Бердска района, Новосибирской области.
Проживает: ~~село~~ город Бердск
ул. Советская дом № 62 кв. №
ЮДИН СС. (фамилия) состоит под гласным надзором органов МГБ и обязан явкой на регистрацию каждого месяца – 25 числа ~~в селе~~ городе Бердске района, НСО.

При отсутствии отметки о своевременной явке на регистрацию, удостоверение недействительно.

Нач. Бердского ГО МГБ
ст. лейтенант /БУРМАГА/

Снимки и документы воспроизведены из альбома об С. С. Юдине, подготовленного М. П. Голиковой в 1956—1963 годах.

зил по его просьбе «Эрику», пишущую машинку, и личные вещи. У него был старый громоздкий «Адлер», купленный им в Германии еще в тридцатом году, но он остался в Москве, в его опечатанной квартире. Дядя великолепно печатал все сам — от руки почти никогда не писал — и печатал сразу набело, у него ведь был прекрасный слог. Жили они с Натальей Владимировной недалеко от театра, на Красной улице, в небольшой комнатке, которую снимали. Работал дядя обычным ординатором. Один доцент, нисколько не стесняясь, делал ему еще замечания, если что-то было записано в истории болезни не так, как тот хотел. Когда шли операции, пробиться было невозможно. Особенно тянулись к нему студенты...

Ю. М. Левин, профессор, доктор медицинских наук. Я учился на третьем курсе Новосибирского мединститута, проходил практику в больнице Бердска. Как-то меня вызвали к главврачу. Вхожу. У стола сидит Юдин. Сам Юдин! Легендарный хирург, почетный доктор Сорбонны, почетный член Королевского общества хирургов Великобритании, американского, пражского, каталонского и других обществ. Бог полевой и экстренной хирургии. Тогда, в 1952 году, нас особенно поражали его искусственный пищевод, работы по удалению желудка, переливание трупной крови.

Увидев мою изумленную физиономию, Юдин засмеялся и без долгих предисловий спросил: согласен ли я принять участие в качестве «гипнотезиста» в задуманной им научной работе «Проверка учения И. П. Павлова на людях». Конечно, я согласился. До этого у меня уже был небольшой опыт использования гипноза у тяжелых больных: под руководством моей мамы — врача-психиатра — я пытался снять побочное действие токсичных противоопухолевых лекарств. Иногда удавалось.

Юдинская тема была на острие животрепещущих проблем того времени. Вся медицина перестраивалась в духе учения И. П. Павлова. Все кафедры с разных сторон воспроизводили его опыты на собаках. А тут проверка на людях! К Юдину поступали больные для операции формирования искусственного пищевода, когда естественный оказывался непроходимым для пищи. Начальный этап заключался в том, что создавали фистулу желудка, через которую вводилась пища. Иначе бы больные погибли от голода. Юдин задумал брать через эту фистулу желудочный и кишечный сок натощак и после внушения под гипнозом различной еды.

Исследования проводились в Новосибирской областной больнице. В Бердск Юдин ездил раз в месяц отмечаться. Результаты этой работы описаны в его вышедшей посмертно книге «Хирургия язвенной болезни желудка и нейрогуморальная регуляция желудочной секреции у человека». Там же сказано и о нас — участниках этой работы, врачах и студентах. Внесу только некоторые пояснения. В пять часов утра, как там сказано, мы начинали работу не столько потому, что нам была нужна полная тишина, сколько для того, чтобы по возможности избежать ненужных встреч. Не знаю, были ли предупреждены другие участники работы о риске, которому мы себя подвергаем, контактируя с репрессированным академиком, а я такое предупреждение получал дважды. Особенно запомнилась взбучка от дружески расположенного

к нашей семье секретаря парткома института, доцента Золотарева: «Ты что, спятил? Хочешь сам сесть и мать посадить?» Но мы все же довели нашу работу до конца.

Юдина многие сторонились. Ректор института боялся его принять. Только те, кто не знает обстановки тех лет, могут осудить за это. Что Юдину приписывалось, никто не знал. В том числе приехавшие жена Сергея Сергеевича — Наталия Владимировна, сын — тоже Сергей Сергеевич, а проще — Сережа и жена сына — Тося. А может быть, знали, но, как и он, не могли сказать. Только спустя многие годы, уже после смерти Сергея Сергеевича, Наталия Владимировна высказывала обиду на одного из бывших учеников Юдина.

Работал Юдин неистово, превозмогая приступы сердечной боли. Иногда, прервав на несколько секунд операцию, просил накапать нитроглицерин на кусочек сахара и положить ему в рот (он всегда их имел в кармане). Сейчас Юдина назвали бы экстрасенсом. Пробежав, почти не касаясь больного живота, своими змееподобными пальцами, он ставил диагноз, который всегда подтверждался на операции. Посмотреть, как он оперирует, приходили толпы врачей и студентов. Это доставляло ему радость, которой он и не скрывал.

Помню, как нервничал Сергей Сергеевич, отправляя сына с рукописью, в которой излагалась проделанная работа, в Москву. Он боялся, что Сережу задержат, рукопись отберут и она не дойдет до Сталина. Был подготовлен «резервный вариант». Его должен был отвезти в Москву мой знакомый, не «скомпрометированный» связью с Юдиным. Но Сережа доехал благополучно, и, кажется, через Ворошилова рукопись попала по назначению. «Резервный вариант» хранится у меня до сих пор. Не знаю, как на это реагировал Сталин. Но академик Юдин был полностью реабилитирован и восстановлен во всех своих званиях и регалиях только после его смерти.

М. П. Голикова, хирургическая медсестра. Из письма ее к дочери Е. В. Потемкиной от 5 августа 1953 года.

«На аэродроме С. С. встретила целая группа врачей, примерно ты знаешь кто — Симонян и пр. Вечером все собрались у Цуриновой и ничего не нашли лучшего, как передавать всю мерзость и гадость, которая была в его отсутствие. Он сразу сказал: «Я возвращаюсь не для того, чтобы устраивать разгоны и сводить счеты, и тем более не для того, чтобы реагировать на всякого рода сплетни и слухи, а возвращаюсь в свой родной институт для того, чтобы работать». На следующий день его вызвали в горздрав и предложили получить приказ на занятие должности заведующего первой клиникой, то есть на место ушедшего Розанова. Он наотрез отказался. А его друг, министр Третьяков, заявил, что институт в ведении горздрава и он не может распоряжаться его кадрами. Мы все были в страшном волнении. Думали, что все исходит оттуда, откуда мы вернулись. Но через день С. С. вызвал Яснов, предгорисполкома, предложил указать район, где он бы желал получить квартиру. С. С. ответил, что, пока он не получит работу, он не может ответить на этот вопрос. Яснов удивленно спросил: «Разве вы не в институте?» С. С. все рассказал. На что Яснов заметил: «Горздрав распоряжается врачами, а академиками до сегодняшнего дня распоряжался министр. Если он не получил директив в отношении вас вчера, то он получит их сегодня». Когда вернулся домой, его уже ждала записка о том, что просил позвонить замминистра МВД. С. С. приглашали в главное здание МВД. Там ему вручили Диплом о Сталинской премии и вторую медаль лауреата. На вопрос, есть ли у него какие претензии, он ответил, что нет, а на вопрос, как встретили в институте, ответил, что там еще не был и что, может быть, и не пойдет. Замминистра позвонил Третьякову, и министр сказал, что все в порядке и он ждет Юдина. Кончилось тем, что был дан приказ, по которому Юдин полностью был восстановлен в должности главного хирурга института, заместителя директора по научно-исследовательской части и директора первой клиники».

Но недолго наслаждался Сергей Сергеевич Юдин возвращенной желанной свободой, здоровье его было подорвано. Через год его не стало. В третий раз отказал, как выражался сам он, «мотор», и окончательно на сей раз. Почувствовал себя плохо еще в Киеве, после блистательного доклада на конференции хирургов.

Остались незавершенными планы, неоконченными рукописи. И если б не друзья, коллеги, ученики... Если б не Марина...

Если б не Марина... По клочкам бумаги, по листочкам, исписанным в тюрьмах, М. П. Голикова вчитывалась в строки так хорошо знакомого ей почерка, вникала в замысел того, что хотел сказать Юдин. Отыскивала тезисы, наброски статей. Переписывала их заново. Да за ее подвижнический труд над рукописями Юдина памятник в пору бы поставить!

Редактировали рукописи ученики Юдина, сами уже профессора. Особенно много сделал Дмитрий Алексеевич Арапов. И одна за другой выходили книги. Посмертно.

1955 год. «Этюды желудочной хирургии» с прекрасными черно-белыми и цветными, как того хотел Юдин, иллюстрациями. На титуле под фамилией автора труда еще одна фамилия — фамилия художницы: «Рисунки Ирины Цановой». За эту книгу Голиковой пришлось долго воевать с Б. А. Петровым, всячески противился он ее выходу в свет. Потом эта книга была переиздана в 1965 году с предисловием члена-корреспондента АМН СССР Д. А. Арапова.

1960 год. Начало издания трехтомника «Избранных произведений» С. С. Юдина. В книге первой — вопросы обезболивания в хирургии, в книге второй — вопросы военно-полевой хирургии и переливания посмертной крови.

1962 год. Третья книга. «Хирургия язвенной болезни желудка и нейрогуморальная регуляция желудочной секреции у человека», построенная на результатах исследований, проводившихся в ссылке, в Новосибирске, о которых так беспокоился Юдин в своих письмах профессору Савиных.

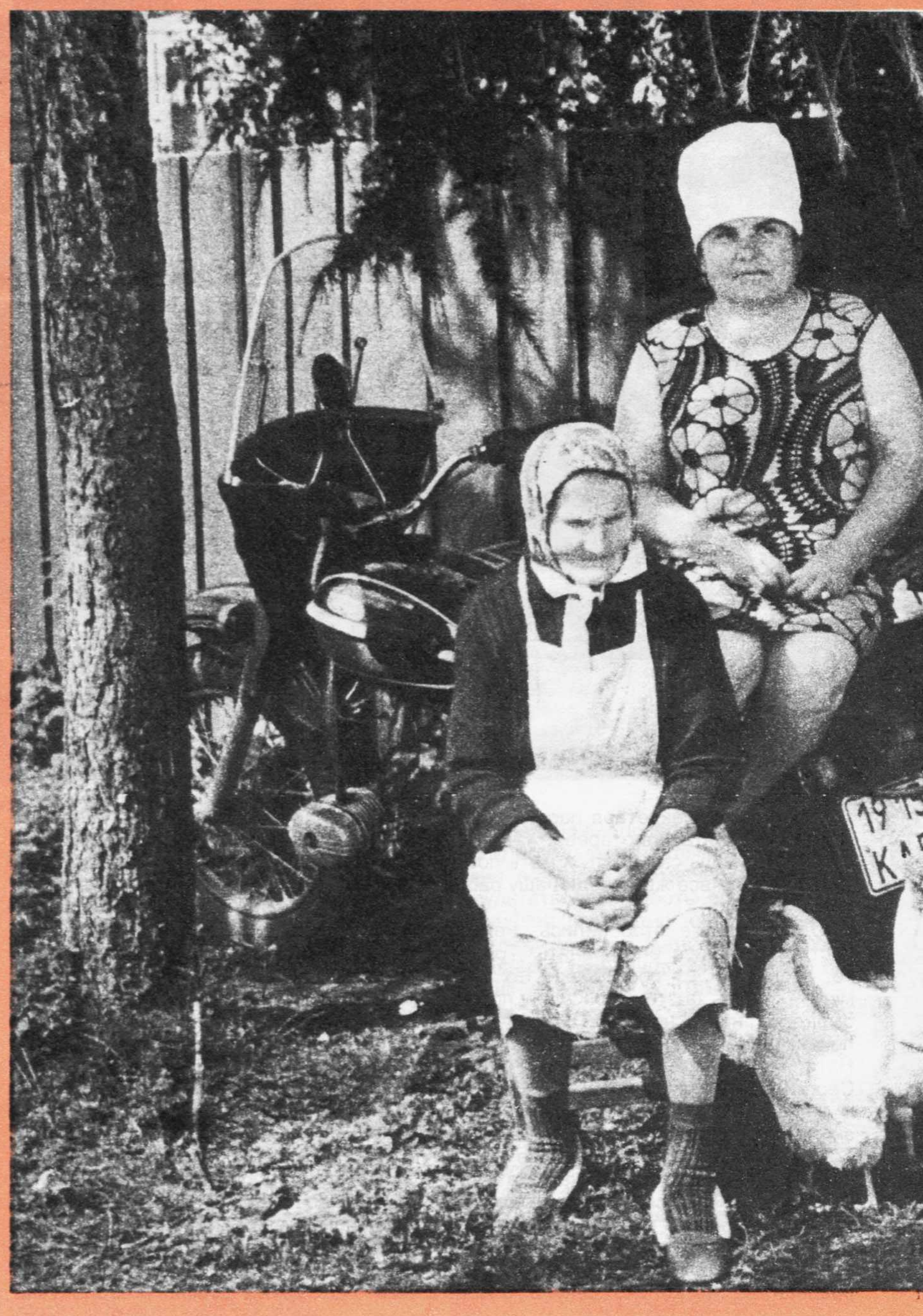
Последнюю свою работу Юдин хотел назвать «Источники и психология творчества». Впоследствии она получила другое название, которое очень нравилось Марине,— «Размышления хирурга». Она вложила в нее много души, но завершить не успела. «Размышления хирурга» вышли уже без нее, в 1968 году. Эта небольшого формата книга — прекрасное подарочное издание. Каждому, кто возьмет ее в руки, она принесет радость. Автор ее представлен как философ и ученый. Недаром эпиграфом к первой главе он взял высказывание Льва Толстого о науке и искусстве. Они... «связаны между собой как легкие и сердце, так, что если один орган извращен, то другой не может правильно действовать». Потому и «...невозможно без восхищения читать строки о том, что привык у себя в кабинете перед особо трудными операциями перелистывать партитуру симфоний Чайковского...», «Врач-мыслитель, пламенное сердце художника и красивая душа большого гуманиста...» Эти высказывания принадлежат известному философу А. Г. Спиркину и приведены из его послесловия к книге.

Столь же высокого мнения о книге и ее авторе и академик Б. В. Петровский, написавший к ней предисловие: «Если С. С. Юдин любил называть работы по изучению посмертной крови своей «патетической симфонией», то «Размышления хирурга» мы вправе назвать «неоконченной симфонией». Действительно, рукопись не завершена. Она была задумана как психология творчества, создавалась в неблагоприятных условиях... Рукопись представляет собой отдельные фрагменты, мысли, высказывания, касающиеся творческого процесса вообще и творчества врача и хирурга в частности... Литературный талант, взлет мысли доставляют эстетическое наслаждение... Неповторимый стиль, широкая эрудиция...»

Академик счел своим долгом при этом отметить, что «в систематизации и восстановлении текста большая работа проведена составителем рукописи М. П. Голиковой». Ее же перу принадлежат и публикации о Юдине в журналах.

17 объемистых папок с материалами самого С. С. Юдина и о нем переданы М. П. Голиковой на хранение в Государственную библиотеку имени В. И. Ленина. Они ждут исследователя творческой лаборатории хирурга и изучения его богатого наследия. Равно как документы, коллекции препаратов, инструменты, которыми он пользовался, личные вещи, произведения живописи и скульптуры, ему посвященные или ему подаренные, ждут инициаторов создания и открытия мемориального музея С. С. Юдина. С каждым годом этих бесценных реликвий и материалов становится все меньше. Надо торопиться! 27 сентября 1991 года исполнится сто лет со дня его рождения.

ОСЕНЬ



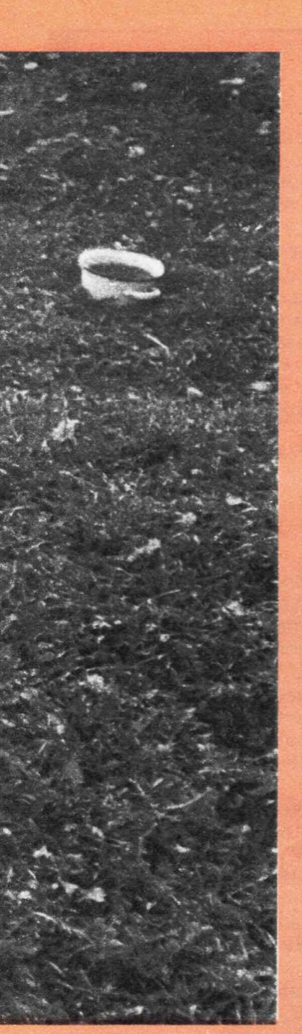
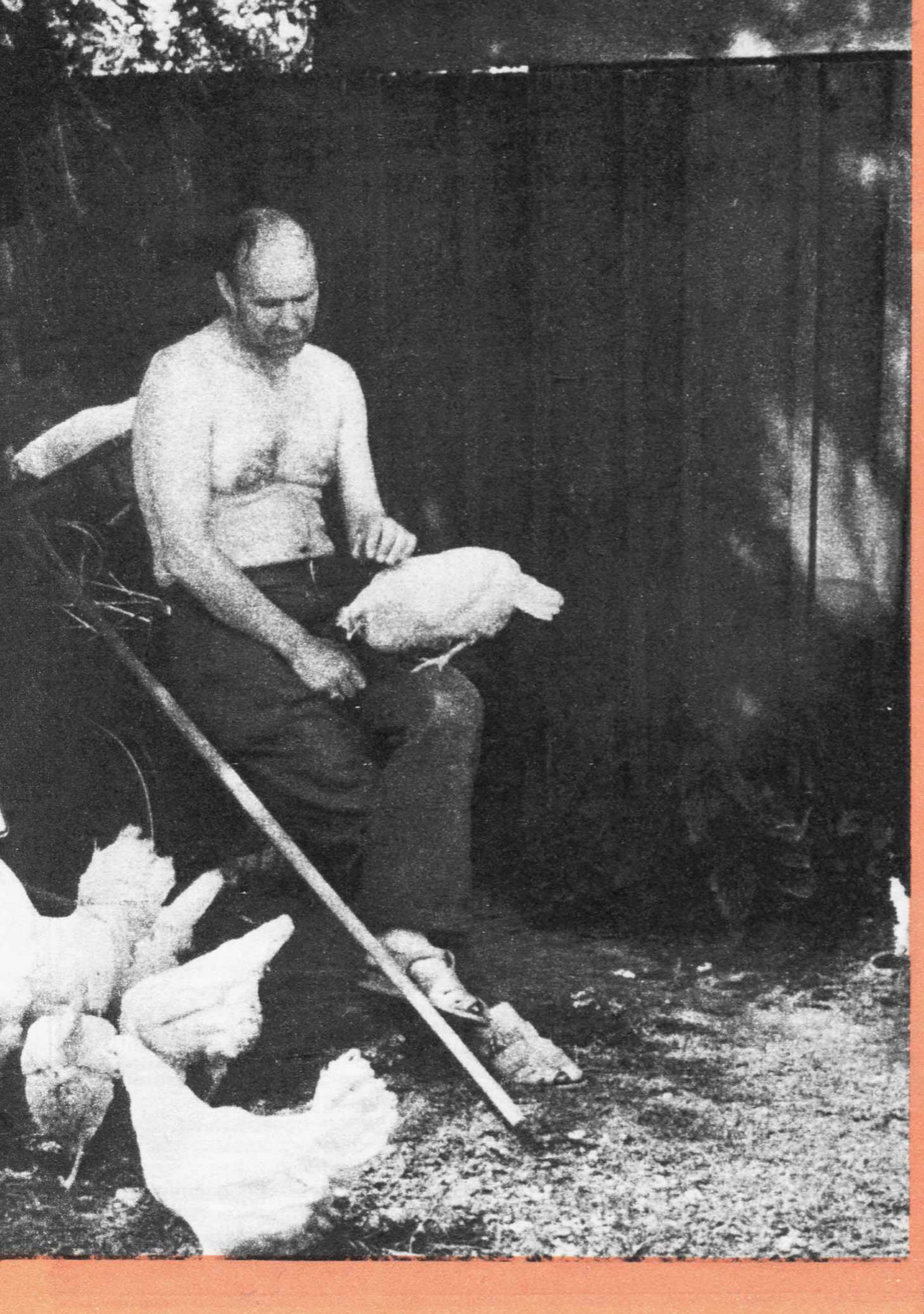


Фото
Татьяны
РОМАНОВОЙ

ФОТОКОНКУРС

Земля у нас одна



Леонид ГУБАНОВ (1946—1983)

Мама его работала в ОВИРе, и по такому ли уж парадоксу с младых ногтей своих Леня стал бунтарем против всего, что было духовным ОВИРом,— всего, что забивало человека в клетки анкет, в оскорбительную чушь формальных характеристик. Он организовал СМОГ — самое молодое общество гениев. Комсомольские литературные «дружинники» смекнули, что этих бунтовщиков неплохо было бы использовать против поколения «шестидесятников», начали на первых порах помогать им, предоставлять залы. Они радовались, когда «смогисты» на своих афишах писали: «Сегодня в библиотеке такой-то состоятся похороны Евтушенко, Аксенова, Казакова, Ахмадулиной», не замечая, что далее мелкими буквами было в скобках следующее: «поскольку все остальные уже давно похоронили себя сами». «Смогисты», как их ни толкали на это, не стали литературными азефами. Тогда их начали удушать не только непечатанием, но и постоянными вызовами, допросами, предупреждениями, бросаниями в психушки. Мне с превеликим трудом удалось напечатать три строфы Губанова в «Юности», но их затем подвергли издевательскому разгрому. Леня был подлинным самородком. Гениальные строчки, правда, часто шли у него в Ниагаре словесного потока, где было много и пены, и мусора, и он не всегда умел отличать одно от другого, но его уникальная талантливость была несомненна даже для тех, кто его считал психом и алкоголиком. Когда после его безвременной смерти начали печататься стихи, то вдруг свершилось чудо: все лишнее как бы отступило на задний план, и выдвинулось все сомнамбулически напророченное. Поколение Губанова было удушено в колыбели, но их первые бунтарские крики всегда будут звучать эхом в истории.

МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

Была б жива Цветаева,
Пошел бы в ноги кланяться —
Пускай она седая бы
И в самом ветхом платьице.

Понес бы водку белую
И пару вкусных шницелей,
Присел бы наглым беркутом —
Знакомиться ль? Молиться ли?..

Пускай была бы грустная
И скатерть даже грязная,
Но только б слышать с уст ее
Про розовое разное.

Но только б видеть глаз ее
Фиалковые тени
И чудо челки ласковой,
И чокнуться в колени.

Жила на свете меточка
Курсисточкой красивой,
В бумажном платье девочка
Петлю с собой носила.

Писала свитки целые,
Курила трубку черную,
Любила спать за церковью,
Ходить в пацаньих чоботах.

И доигралась, алая,
И потеряла голову,
Одно лишь слово балуя,
Ты замерзала голая.

Один лишь стол в любовниках,
Одна лишь ночь в избранницах,
Ах, от тебя садовнику
Вовеки не избавиться...

Небесному — небесное,
Земному — лишь земное.
И ты летишь над бездною
Счастливейшей звездою.

Все поняла́ — отвергнула,
Поцеловала — ахнула,
Ну а теперь ответа жди
От золотого Ангела!

Пусть сыну честь — гранатою,
А мужу слава — пулей,
Зато тебя с солдатами
Одели и обули.

И ничего не вспомнила,
Перекрестилась толечко —
Налей стаканы полные,
Зажри все лунной корочкой!

Здоровье пью рабы твоей,
Заложницы у Вечности,
Над тайными зарытыми,
Страстями подвенечными.

Какое это яблоко
По счету своевольное.
Промокшая Елабуга,
Печаль моя запойная...

Была б жива Цветаева,
Пошел бы в ноги кланяться
За то, что не святая ты,
А лишь страстная пятница.

И грустная, и грешная,
И горькая, и сладкая
Сестрица моя нежная.
Сестрица моя славная.

Дай бог в гробу не горбиться,
Мои молитвы путая,
Малиновая горлица
Серебряного утра!

Николай ШАТРОВ

(1929—1977)

В Москве в литературных кругах оттепельного поколения его знали почти все: цыганистый красавец, любимец публики, он читал своим густым бархатным басом стихи, которые подхватывались здесь же на слух. Сам он никогда не проявлял беспокойства об их издании, хотя знал себе цену. Поэт с обнаженной совестью жил так, как будто он застраховался от смерти своими стихами.

КАРАКУЛЬЧА

Мех на ваших плечах, дорогая —
немыми устами
Прикоснусь я к нему.
На губах, словно дым, завиток.
Вы не смеете знать, как пластали
овцу в Казахстане,
Из утробы ее вырезая предмет
этих строк.
Нет! Не ждите дешевки — описывать
в красках не буду
Убиение агнца еще не рожденного
в мир.
Распинали Христа. И сейчас —
кто из нас не Иуда?
Из предателя жизни, служителя
скрипок и лир?
Слишком груб для утонченной моды
обычный каракуль.
И додумались люди прохладным
умом палача,
Чтоб приехать вам в оперу было бы
в чем на спектакль,—
С Материнского плода сдирается
ка-ра-куль-ча...
...Из младенческой кожи
не нравятся нам абажуры.
Эти зверства неслыханны...
О, запахните манто!
Я вспорю тебе брюхо, бесстыжая
жадная дура.
И пускай убивают меня как овцу —
ни за что,—
Как поэта Васильева в тридцать
ежовом убили.
Чью же шкуру украсил тот
сорванный с гения скальп?
Я стихов не пишу. Я заведую
лавкой утиля.
Вся земля прогнила от глубин
преисподни до Альп.
Не хочу вспоминать искупительных
возгласов Бога,
Как каракуль распятого
на крестовине креста.
Я убогий писака. Простите меня —
ради Бога!
И последним лобзаньем мои
помяните уста.

1976 год

Ефим ЗУБКОВ

(1947—1976)

Родился в Симферополе. По профессии строитель. Самобытный, не успевший полностью раскрыться поэт. Жизнь его трагически оборвалась, а в памяти осталась веселая песенка «Корабли детства уходят в детство». Стихи его почти не публиковались.

* * *

нас ждет
осенний лес
как
Дельвига измена
в обмен
на интерес
к прелестнице надменной
в обмен
на рать друзей
разбитую без боя
придет осенний день
с повинной головою

зачем нас это ждет
кому мы надоели
зачем нам плечи трет
привычный груз недели

куда же мы спешим
коль нас не минет это
кого же мы смешим
трагичностью сюжета
давайте
жить не так
вернем друзей старинных
и банда передряг
к нам явится с повинной

давайте жить верней
пора вернуться в юность
как будто бы в музей
хозяева вернулись
пусть общий интерес
никто не разменяет

нас ждет
осенний лес
иначе не бывает

* * *

пока
пока
пока
ниспровергали бога
собрался в облака
отечественный дым
и пал
великий снег
безвыходно и строго
хотя и не был он
земле необходим

и я тогда решил
собраться и решиться
старинный
этот тракт
дорогой полюбить
благодарить
судьбу
за должность
очевидца
и ремеслом строки
вовек не торопить
да в том
и нет беды
пропасть за этим снегом
в степи ни ветерка
уехать молодым
вот вам моя рука
итак
ступайте следом
вот там
и поживем
вот там
и поглядим

* * *

стареет женщина
и вот
не то чтобы
уже не ждет
необычайного чего-то
а просто
наступает год
когда известны наперед
ее ближайшие заботы
стареет женщина
и тут
друзья-приятели солгут
но в нашей жизни
нелюдимой
не дай ей бог
на пять минут
себя увидеть
не любимой

* * *

Когда мы спорим — слово стынет,
но каждый снова о своем,
то правда тут посередине,
а мы по краешку идем.

Есть государство, небо синее,
есть в жизни спад и есть подъем.
И правда есть. Посередине.
А мы по краешку идем.

Бенгт ЯНГФЕЛЬДТ

О ВЛАДИМИРЕ МАЯКОВСКОМ И ЛИЛЕ БРИК

ЛЮБОВЬ-ЭТО СЕРДЦЕ ВСЕГО

Редакция «Огонька» обратилась к известному шведскому слависту, переводчику русской литературы, автору многих статей и книг о Маяковском Бенгту Янгфельдту с просьбой отобрать несколько писем из опубликованной им в Швеции переписки В. В. Маяковского с Л. Ю. Брик. Из 416 писем и телеграмм друг к другу большая часть или вообще не печаталась в СССР или же публиковалась с купюрами. Ученый проделал огромную работу, тщательнейшим образом прокомментировав эту корреспонденцию. Книга Б. Янгфельдта, несмотря на свою научную направленность, имела фантастический успех и была переведена на многие языки. Переписка Маяковского с Брик читается как роман с причудливой любовной интригой, страстями и трагедиями.

Мы искренне признательны шведскому ученому за подбор малоизвестных у нас писем В. Маяковского и предисловие к ним, которое он прислал в редакцию «Огонька».

Этот снимок 1918 года публиковался в нашей печати с существенными искажениями: в книге Л. Рахмановой и В. Валерианова «Шесть адресов Владимира Маяковского» (М., 1964) от Л. Ю. Брик осталась лишь часть каблука; в книге Л. Ф. Волкова-Ланнита «Вижу Маяковского» (М., 1981) на этом снимке нет ни Л. Ю. Брик, ни дерева, подпись же гласит: «В. Маяковский в Мексике. 1925 г.».

Каково было положение «маякововедения» в конце семидесятых годов, когда у меня родилась идея издать переписку Маяковского с Л. Ю. Брик?

Начиная с пресловутых огоньковских статей 1968 г. велась целеустремленная кампания против Л. Ю.— в статьях, в воспоминаниях (которые, в отличие от воспоминаний самой Л. Ю., могли найти отечественного издателя), в комментариях к собраниям сочинений и т. д.,— цель которой была, по словам американского слависта Э. Брауна в его книге о Маяковском, «ликвидировать Лилю Брик в качестве главной любви в жизни Маяковского». Эта кажущаяся безнадежной задача в начале 70-х годов все-таки увенчалась некоторым успехом: закрыли старый музей Маяковского в Гендриковом переулке, где жили Маяковский и Брики в 1926—1930 гг., и открыли новый музей в проезде Серова (бывший Лубянский проезд), где у поэта была рабочая комната и где он покончил с собой.

За этими попытками переписать биографию Маяковского скрывалось несколько моментов: во-первых, Л. Ю. Брик «мешала» образу Маяковского как политического поэта, приверженца социалистического реализма. Публикация 125 писем и телеграмм Маяковского к ней в 1958 г. выявила психологический облик поэта, не укладывающийся в рамки узкоидеологического толкования его творчества (публикация подверглась жестокой критике, а запланированный второй том «Литературного наследства» о Маяковском так и не вышел). Во-вторых, чтобы закрепить реалистический, «нефутуристический» характер творчества Маяковского, необходимо было его оторвать от литературной среды 10-х и 20-х гг. К этим двум основным факторам надо прибавить еще один: жизнь Маяковского и Бриков в одной квартире — моральная авантюра и сомнительный пример тем, кому должна быть образцом биография поэта Революции.

В результате всех попыток удалить Бриков из биографии Маяковского сметены многие следы их совместной жизни — помимо закрытия музея, можно указать и на публикацию фотографий, на которых Лиля Брик тщательнейшим образом затушевывалась. В других случаях фотографии либо просто обрезаны, либо Л. Ю. обозначается «и др.».

В этой ситуации, когда каждое упоминание Л. Ю. Брик в связи с Маяковским носило открыто враждебный характер, когда из нового музея распространился слух, будто Маяковский был убит в результате чекистского заговора во главе с Л. Ю. Брик,— в этой ситуации стало необходимым что-то сделать, чтобы сохранить имя женщины, которую старались всячески изъять из биографии Маяковского,— и в 1982 г. вышла в Стокгольме (по-русски) переписка Маяковского и Л. Ю. Брик.

Любовь Маяковского и Л. Ю. Брик всегда привлекала внимание исследователей и сплетников почти в одинаковой степени. Для одних эта связь — отталкивающий пример декадентской буржуазной морали, вызывающий негодование и почти непостижимую неприязнь к Л. Ю. и О. М. Брик,— такова была более или менее официальная советская позиция с конца 60-х годов; другие видят в этом романе своего рода бытовой эксперимент, смелую попытку создать новые отношения любви и дружбы — в таком толковании их отношения получают порою статус идеализированного мифа. В своем исследовании я старался избежать обеих этих крайностей...

Владимир Владимирович Маяковский с Лилей Юрьевной (1891—1978) и Осипом Максимовичем (1888—1945) Брик встретились впервые летом 1915 г., хотя были наслышаны друг о друге до этого.

Л. Ю. стала новой и единственной героиней в жизни и творчестве Маяковского. Начиная с 1915 г. Маяковский посвящал печатно Л. Ю. все свои поэмы. А когда в 1928 г. вышел первый том его собрания сочинений, посвящение гласило: Л. Ю. Б. — тем самым поэт посвятил ей все им написанное и до, и после знакомства.

Любовь Маяковского к Л. Ю. была огромна, и переживал он любовные радости и огорчения гиперболически, как это было ему свойственно. Об этом свидетельствует запись Л. Ю. «Как было дело»: «Володя не просто влюбился в меня — он напал на меня, это было нападение. Два с половиной года не было у меня спокойной минуты — буквально».

Первые два-три года их знакомства были, таким образом, трудными для обоих. Маяковский в своей поэзии «короновал» Л. Ю., а она раздражалась, устав от его безмерной любви к ней.

«Только в 1918 году я могла с уверенностью сказать О. М. о нашей любви. С 1915 г. мои отношения с О. М. перешли в чисто-дружеские, и эта любовь не могла омрачить ни мою с ним дружбу, ни дружбу Маяковского и Брика. За три прошедших года они стали необходимы друг другу — им было по пути и в искусстве, и в политике, и во всем. Все мы решили никогда не расставаться и прожили жизнь близкими друзьями». Так комментирует сама Л. Ю. изменение в отношениях между ней, О. М. и Маяковским. Хотя отношения с Маяковским перешли в новое качество, но любовь Л. Ю. к мужу не ослабевала. В записи «Как было дело» она разъясняет предпосылки их отношений: «Мы с Осей больше никогда не были близки физически, так что все сплетни о «треугольнике», «любви втроем» и т. п.— совершенно не похоже на то, что было. Я любила, люблю и буду любить Осю больше, чем брата, больше, чем мужа, больше, чем сына. Про такую любовь я не читала ни в каких стихах, ни в какой литературе. <...> Эта любовь не мешала моей любви к Володе. Наоборот: возможно, что если б не Ося, я любила бы Володю не так сильно. Я не могла не любить Володю, если его так любил Ося. Ося говорил, что для него Володя не человек, а событие. Володя во многом перестроил Осино мышление <...>, и я не знаю более верных друг к другу, более любящих друзей и товарищей».

Осенью 1922 г. отношения между Маяковским и Л. Ю. выдержали кризис, первое серьезное испытание после «легализации» их романа в 1918 г. Кризис назрел во время поездки в Берлин в октябре — ноябре и вспыхнул в конце декабря: по инициативе Л. Ю., она и Маяковский приняли решение прожить два месяца врозь — он в своей рабочей комнате в Лубянском проезде, она в квартире в Водопьяном переулке.

Разлука должна была длиться ровно два месяца, до 28 февраля 1923 г. За это время Маяковский ни разу не посетил Л. Ю. Он подходил к ее дому, прятался на лестнице, подкрадывался к ее дверям, писал письма и записки, которые передавались через прислугу или через общих знакомых; он посылал ей цветы, книги и другие подарки, как, например, птиц в клетке — напоминание о ситуации, в которой находился. Л. Ю. отвечала краткими записочками, несколько раз они виделись случайно.

Маяковский переживал разлуку куда мучительнее, чем Л. Ю. Его постоянные метания между радостью и надеждой, с одной стороны, и сомнениями и отчаянием — с другой, запечатлены в переписке с предельной ясностью. Эти письма и записки проливают новый свет и на поэму «Про это» (посвященную «Ей и мне»), написанную в эти два месяца; некоторые куски вошли почти дословно в текст поэмы.

Л. Ю. и Маяковский должны были пересмотреть свое отношение к быту, к любви и ревности, к инерции повседневной жизни, к «чаепитию» и т. д. Маяковский старался это сделать; тем не менее месяцы самоиспытания не привели к большим изменениям в их жизни, да и Маяковскому это было не важно — лишь бы они были вместе и впредь.

28 февраля в три часа дня истек для Маяковского «срок заключения». В восемь часов вечера они встретились с Л. Ю. на вокзале, чтобы поехать на несколько дней вместе в Петроград. Войдя в купе, Маяковский прочитал ей только что законченную поэму «Про это» и заплакал...

1924 год был переломным в развитии их отношений.

Сохранилась записочка от Л. Ю. к Маяковскому, в которой она заявляет, что не испытывает больше прежних чувств к нему, прибавляя: «Мне кажется, что и ты любишь меня много меньше и очень мучаться не будешь».

Одна из причин этой перемены в их отношениях очевидна. В письме от 23 февраля 1924 г. Л. Ю. спрашивает: «Что с А. М.?» Александр Михайлович Краснощеков, бывший председатель и министр иностранных дел правительства Дальневосточной республики, в 1921 г. вернулся в Москву и в 1922 г. стал председателем Промбанка и заместителем Наркомфина. Л. Ю. познакомилась с ним летом того же года. Между ней и Краснощековым начался роман, о котором знал Маяковский. В сентябре 1923 г. Краснощеков был арестован по необоснованным обвинениям и присужден к тюремному заключению.

Осенью 1924 г. Маяковский уехал в Париж. После одной недели во французской столице Маяковский пишет Л. Ю.: «⟨...⟩ писать я не могу, а кто ты и что ты я все же совсем совсем не знаю. Утешать ведь все же себя нечем ты родная и любимая но все же ты в Москве и ты или чужая или не моя». Л. Ю. ответила: «Что делать. Не могу бросить А. М. пока он в тюрьме. Стыдно! Так стыдно как никогда в жизни». Маяковский: «Ты пишешь про *стыдно*. Неужели это все что связывает тебя с ним и *единственное* что мешает быть со мной. Не верю! ⟨...⟩ Делай как хочешь *ничто никогда и никак моей любви к тебе не изменит*». Л. Ю. была не права, полагая в своей записочке, что он любит ее «много меньше» — ничто не могло подорвать его любви к ней, и он «мучился».

После возвращения из Америки (1925) отношения между ним и Л. Ю. окончательно перешли в новую фазу. «Характер наших отношений изменился»,— пишет Л. Ю.

В апреле 1926 г. Брики и Маяковский переехали на квартиру в Гендриковом переулке.

Парадоксально, что Маяковский и Л. Ю. съехались в одну квартиру только теперь, когда кончилась уже их «супружеская» жизнь. На самом деле этот факт — только лишнее свидетельство глубокой дружбы, связывавшей этих людей; новые, эмоционально менее напряженные отношения между Маяковским и Л. Ю. являлись скорее всего необходимым условием для такого бытового эксперимента.

Осенью 1928 г. Маяковский опять едет в Париж. Помимо чисто литературных дел, поездка имела и другую цель. 20 октября он поехал в Ниццу, где отдыхала его американская подруга Элли Джонс с дочкой, которую он признавал своей. Судя по письмам Элли Джонс, встреча в Ницце была неудачной; уже 25 октября он вернулся в Париж.

Вечером того же дня Маяковский познакомился с Татьяной Алексеевной Яковлевой, молодой русской, в 1925 г. приехавшей в Париж. Маяковский и Т. Яковлева сразу влюбились друг в друга.

Маяковский покинул Париж в начале декабря, но вернулся туда уже в феврале 1929 г.; в этот приезд он пробыл там два с лишним месяца. Он предложил Т. Яковлевой стать его женой и уехать с ним в Россию — мысль, которую она, по словам Р. Якобсона, «встретила уклончиво». Но роман их продолжался, и Маяковский собирался вернуться в Париж в октябре того же года.

Эта поездка не состоялась. Возможно, что Маяковскому было отказано в визе или что ему намекнули на то, что разрешения не будет и что не стоит даже подавать. Обстоятельства вокруг этой несостоявшейся поездки весьма туманны, что послужило поводом для разного рода слухов и недомолвок.

<26—27 октября 1921 г. Москва — Рига>

Дорогой мой милый мой любимый мой обожаемый мой Лисик!

Курьерам письма приходится сдавать распечатанными поэтому ужасно неприятно чтоб посторонние читали что нибудь нежное. Пользуюсь Винокуровской оказией что б написать тебе настоящее письмо. Я скучаю, я тоскую по тебе — но как — я места себе не нахожу (сегодня особенно!) и думаю только о тебе. Я никуда не хожу, я слоняюсь из угла в угол, смотрю в твой пустой шкаф — целую твои карточки и твои кисячие подписи. Реву часто, реву и сейчас. Мне так — так не хочется чтоб ты меня забыла! Ничего не может быть тоскливее жизни без тебя. Не забывай меня ради христа я тебя люблю в миллион раз больше чем все остальные взятые вместе. Мне никого не интересно видеть ни с кем не хочется говорить кроме тебя. Радостнейший день в моей жизни будет — твой приезд. Люби меня детанька. Береги себя детик отдыхай — напиши не нужно ли чего? Целую Целую Целую Целую Целую Целую Целую Целую Целую Целую Целую Целую Целую Целую Целую Целую и Целую

Твой 26/X 21 г.

Если ты ничего не будешь писать о себе я с ума сойду.

Не забывай
Люби.

Сегодня только получил твое «командировочное» письмо сделаю все что может сделать любящий щен. Изложение дела напишу отдельной страницей. Пока надежды у меня мало. Теперь есть 27/X. Лилек получаешь ли ты мои письма?

Я пишу тебе с каждым поездом, по адресу Полномочное Предст. Р. С. Ф. С. Р. Винокуру для тебя. Когдаж Винокур приехал сюда я писал просто Предст. Р. С. Ф. С. Р. сотрудн. Брик.— если не получила — найди. Сейчас буду писать с прибавлением Бель Вю 32.

Твой щен

Шлю тебе немного на духи.

Кисит пришли сюда какие нибудь свои вещицы (духи или что нибудь) хочется думать каждый день что ты приедешь глядя на вещицы.

Целую. Целую
Твой

Пиши много и подробно

Твой Щенит

<19 декабря 1921 г. Москва — Рига>

Дорогой и милый милый Лиленочек!

Вчера (воскресенье 18) приехал из Харькова и сразу набросился на твои письма получил 2 милых и все три деловых!

(Дело на следующей странице!)

Получила ли ты харьковское письмо № 15. Я рад что оттуда вырвался — Харьков город ужаснейший. Читал три раза было довольно масса народу.

Лисенок — я по тибе очень скучаю, а ты по мине? Я тибе люблю очень а ты мине?

Не забывай меня детка пожалуйста. Я твой верный

Целую Целую
и Целую

Целую
и Целую.

Вот тебе

Лисик милый
Лисик замечательный
Лисик прекрасный
Лисик чудный
Лисик детка
Лисик удивительный
Лисик котик
Лисик киса
Лисик солнышко
Лисик рыжик
Лисик котенок
Лисик личика
Лисик сладкий
Лисик обаятельный
Лисик восхитительный
Лисик маленькая
Лисик красавица
Лисик обворожительный
Лисик потрясающий
Лисик фантастический
Лисик звездочка

Я вас люблю
Щен

Лилек!

1) В четверг вышлю и докладную записку и сведения об учебниках.

2) За учебниками надо итти в Наркомпрос на Остоженку.

3) Так же думаю получить заказ от Давида Петровича (буду завтра тоже)

4) Если будут от Главполитпросвета заказы на плакаты и иллюстрированные книжечки, их можно издать?

5) Не слишком ли издатель упирает на учебники?

6) Не является ли литература наша только неприятным для него придатком к Евтушевскому — ведь тогда это не то.

7) Важный вопрос (задают все) придется ли Наркомпросу расплачиваться золотом или мы будем расплачиваться в Р. С. Ф. С. Р. нашим рублем конечно последнее было бы сделать легче.

8) Как пройдут через латвийцев мои книги ведь если делать «искусство без примеси» то не пойдет ни мое «полное собрание» ни «Маф» ни «книга о плакате».

Выясни это подробнее.

9) Постараюсь к четвергу все же выслать книгу (и для печати и для расценки).

10) Отчего такой упор на учебники ведь если поставить хорошее литературное издательство (особенно роман) ведь это тоже даст издательству большую прибыль

В четверг все вышлю и все взвешу окончательно.

Пиши

Целую твой
ВМаяк

Можно ли к тексту о плакате выслать большие окна что б их уменьшили для печати в Риге или это надо (или лучше) сделать тут?

<26 декабря 1921 г. Москва — Рига>

Дорогой Мой Милый мой Лиленочек

Ужасно Ужасно скучаю без тебя. А ты?

С приезда из Харькова ничего от тебя не получаю. Получила ли ты мое издательское «Вместо докладной записки». Жду ответа очень хочу работать по изданиям. Я и оська живем. Живем и скучаем.

Оська получил от мамы длиннейшие кальсоны и завязывает их чуть не под подбородком — но франтит и хвастается. Приехал на Съезд Малкин страшно тебе кланяется. Уехал Жевержеев прожив 4 недели! у нас!

С новым Годом тебя Лисеныш. Ужасно — без тебя.

Что тебе пожелать? Не знаю какая ты! Мне желай увидеть тебя — скорее! скорее! скорее!

Целую тебя детка. Я весь твой. А ты? Что то я стал сомневаться.

Целую и Целую
твой

26/XII 21 г.

<10 января 1922 г. Москва — Рига>

Дорогой мой и любимый Лилек

Получил два твоих неприятных письма. Грустно очень. Особенно последнее. В первом ты только погрозилась «А там видно будет». В последнем же нет уже твоих обычных «Ваша» «жду» и т. д. Неужели сплетни сволочной бабы достаточно чтобы так быстро стать чужой?

Конечно я не буду хвастаться что я живу как затворник. Хожу и в гости и в театры, и гуляю и провожаю. Но у меня нет никакого романа нет и не было.

Орфография и пунктуация В. Маяковского дается без изменений.

В двух огоньковских статьях 1968 г. в том, что поездка не состоялась, обвинили Бриков, которые-де не были заинтересованы в женитьбе Маяковского на Т. Яковлевой. Намеки даются без доказательств, но так как Брики сами спустя пять месяцев уехали за границу, считается естественным, что у них были возможности влиять на визовые дела.

Самоочевидно, что Брики не «хотели», чтобы Маяковский женился на Т. Яковлевой; женитьба Маяковского на Т. Яковлевой означала бы конец их совместной жизни; вряд ли она, вернувшись в СССР, согласилась бы «делить» Маяковского с Л. Ю. и О. М. В этой связи нельзя также недооценивать роль Маяковского как главного кормильца семьи. Но отсюда сделать вывод, что Л. Ю. и О. М. действительно воспрепятствовали парижской поездке Маяковского, или намекать на это по меньшей мере легкомысленно. В отсутствие доказательств такого вмешательства мы должны искать другие объяснения несостоявшейся поездки.

Л. Ю. и О. М. действительно поехали в Германию и в Англию в феврале 1930 г. Согласно «Дневнику» Л. Ю., они подали заявление о визе уже осенью 1929 г., но получили отказ. Отказ пришел 10 октября, то есть в то же самое время, когда Маяковский должен был уехать во Францию. Брики получили свои паспорта только 6 февраля 1930 г., после того, как Маяковский «хлопотал» о них у Кагановича. Спрашивается: если Брики обладали достаточной властью, чтобы помешать планам Маяковского, почему они не смогли устроить заграничные паспорта самим себе?

Слухи о разных интригах в связи с парижской поездкой Маяковского проистекают частично из того факта, что среди его и бриковских знакомых был в ту пору крупный чекист Я. Агранов. Кроме того, О. М. несколько лет после революции работал юридическим экспертом в Чека. Однако Агранова привел в «семью» не Брик, а Маяковский. У Агранова были литературные интересы, и в 1928—1929 гг. он много общался с Маяковским и Бриками — не исключено, что он был специально приставлен к ним по службе.

1929 год — переломный год в истории России, и в политическом, и в культурном отношениях. В феврале был выдворен Лев Троцкий, а в ноябре Бухарина исключили из Политбюро. В течение года были проведены чистки в партии и в ряде учреждений. Поздним летом и осенью велась в печати ожесточенная кампания против Б. Пильняка и Евг. Замятина, чьи произведения печатались за границей,— кампания, в которой, между прочим, сам Маяковский играл весьма сомнительную роль, осуждая своих коллег.

Кампания против двух писателей совпала с важным изменением в Совнаркоме: 12 сентября А. Луначарский, с 1917 г. возглавлявший Наркомат просвещения, был вынужден уйти со своего поста. Луначарский всегда относился хорошо к Маяковскому и Брикам, бывал у них дома, всячески помогал им.

В сентябре 1929 г. произошел еще один инцидент, значительно затруднивший советским гражданам выезд за границу: сбежал советник советского посольства в Париже, старый большевик Г. З. Беседовский, после чего был принят «закон о невозвращенцах», карающий невозвращение в СССР смертной казнью.

Учитывая все события, происходившие летом и осенью 1929 г., факт несостоявшейся поездки Маяковского кажется мне не только не загадочным, но в некоторой мере даже закономерным. «Кто же мог препятствовать столь важной для него поездке в Париж?» — гласит риторичный вопрос в «Огоньке». Несмотря на горячее желание авторов статьи, никаких доказательств, что в этом были виноваты Брики, нет. Можно с таким же — если не с большим — основанием предположить, что власть, становившаяся с каждым днем все более тоталитарной, была кровно заинтересована в том, чтобы Маяковский — знаменитый поэт, «полпред стиха» — не женился на эмигрантке и — кто знает? — не остался во Франции.

11 октября 1929 г. Маяковский узнал о том, что Т. Яковлева выходит замуж за французского виконта. Переживал он эту весть очень тяжело. Конец романа с ней стал одновременно началом последнего периода его жизни. Продолжались поиски любви, которая могла бы его «спасти». Еще летом 1929 г., задолго до вести из Парижа, Маяковский начал ухаживать за актрисой Вероникой Полонской, и эта связь теперь углублялась.

Маяковский виделся с Бриками в последний раз 18 февраля 1930 г., когда они уезжали за границу. Когда он застрелился, они были по пути домой. Последняя открытка Маяковскому была отправлена из Амстердама 14 апреля, в день самоубийства...

Любовь Маяковского к Л. Ю. была безмерна. Она была женщиной его жизни, жить без нее он не мог. Он любил ее с эмоциональным зарядом, с которым мало кому дано любить, искренно, безоговорочно, хотя он знал, что ее любовь к нему была другого характера.

Привязанность Маяковского к Л. Ю. была настолько сильна, что мешала ему в общении с другими женщинами, даже после того, как в 1925 г. «изменился характер их отношений». Н. Брюханенко помнит слова Маяковского: «Я люблю только Лилю. Ко всем остальным я могу относиться только хорошо или ОЧЕНЬ хорошо...» Веронику Полонскую «огорчала» любовь Маяковского к Л. Ю., пока она не поняла, что «в каком-то смысле она (т. е. Л. Ю.) была и будет для него первой». Даже с Т. Яковлевой, в которую он был так серьезно влюблен, Маяковский говорил все время о Л. Ю. Т. Яковлева рассказывала мне о том, как они вместе покупали Л. Ю. подарки в Париже, выбирали автомобиль, обивку сидений и пр.

Для него Л. Ю. была всем, для нее же любовь к Маяковскому не была единственно важным в ее жизни. Они знали о романах друг друга, но в отличие от Л. Ю. Маяковский страдал от этого знания; даже если он и хотел, он не был в состоянии любить так, как она.

Отношения Л. Ю. и О. М. были менее драматичными. По словам близких им людей, О. М. был достаточно равнодушным к эротической стороне любви, и поэтому подобного рода конфликты в «семье» не возникали. Несмотря на это, они состояли в браке до самой смерти О. М. Для нее Маяковский и О. М. дополняли друг друга, как два полушария мозга.

У Маяковского, Л. Ю. и О. М. было много любовных приключений за те пятнадцать лет, что они знали друг друга и жили в теснейшей дружбе; у О. М. была даже несколько лет постоянная связь с другой женщиной. Из-за этого возникали, конечно, конфликты — особенно между Маяковским и Л. Ю.— и было бы неправильно изображать их совместную жизнь некоей безоблачной идиллией.

Несмотря на кризисы в их взаимоотношениях, их объединяла общность необычного характера, отличительными чертами которой были глубокая дружба, преданность, взаимное доверие, общие интересы. Нет, повторяю, оснований идеализировать их жизнь, но еще меньше оснований сознательно умалять роль Бриков в жизни Маяковского и любовь поэта к Л. Ю.; такое принижение ближайших друзей Маяковского — не что иное, как удар по самому поэту.

<28 декабря 1922 г. Москва>

Лилек

Я вижу ты решила твердо. Я знаю что мое приставание к тебе для тебя боль. Но Лилик слишком страшно то что случилось сегодня со мной что б я не ухватился за последнюю соломинку за письмо.

Так тяжело мне не было никогда — я должно быть действительно черезчур вырос. Раньше прогоняемый тобою я верил во встречу. Теперь я чувствую что меня совсем отодрали от жизни что больше ничего и никогда не будет. Жизни без тебя нет. Я это всегда говорил

Никакие мои отношения не выходят из пределов балдежа. Что же касается до Гинзбургов и до младших и до старших то они не плохой народ но так как я нашел биллиардную то в последнее время видеться с ними не приходится совсем.

К «компании» же Юл(ии) Г(ригорьевны) я не принадлежал ни когда обозвав ее сволочью в первый же день знакомства в сем убеждении и пребываю. Избегал ее всегда и всячески.

Приедешь увидишь все сама — не нравящееся выведешь.

Ну целую тебя миленькая и дорогая детанька я твой

Щен

10/I—22 г.

Несколько дней я грустный очень.

Шлю письмо издателю.

Эльберт взял карточки (я) одна из них твоя остальные сестрины их ни в коем случае нельзя пропадать. Отдай их переснять.

Целую
твой Щ.

<Перв. пол. января 1922 г. Москва — Рига>

Дорогой Мой Милый Мой Любимый Мой Лилятик!

Я люблю тебя. Жду тебя целую тебя. Тоскую без тебя ужасно ужасно. Письмо напишу тебе отдельно. Люблю.

Твой Твой Твой

Шлем тебе
немножко
деньгов.

О. М. Брик, Л. Ю. Брик, В. В. Маяковский. Москва, 1929 г.

В. В. Маяковский: Портрет Л. Ю. Брик. 1916 г.

Л. Ю. Брик. Москва, 1924 г. Фотомонтаж А. М. Родченко.

всегда знал теперь я это чувствую чувствую всем своим существом, все все о чем я думал с удовольствием сейчас не имеет никакой цены — отвратительно.

Я не грожу я не вымогаю прощения. Я ничего ничего с собой не сделаю — мне через чур страшно за маму и люду с того дня мысль о Люде как то не отходит от меня. Тоже сентиментальная взрослость. Я ничего тебе не могу обещать. Я знаю нет такого обещания в которое ты бы поверила. Я знаю нет такого способа видеть тебя, мириться который не заставил бы тебя мучиться.

И все таки я не в состоянии не писать не просить тебя простить меня за все.

Если ты принимала решение с тяжестью с борьбой, если ты хочешь попробовать последнее ты простишь ты ответишь.

Но если ты даже не ответишь ты одна моя мысль как любил я тебя семь лет назад так люблю и сию секунду что б ты ни захотела, что б ты ни велела я сделаю сейчас же сделаю с восторгом. Как ужасно расставаться если знаешь что любишь и в расставании сам виноват.

Я сижу в кафэ и реву надо мной смеются продавщицы. Страшно думать что вся моя жизнь дальше будет такою.

Я пишу только о себе а не о тебе. Мне страшно думать что ты спокойна и что с каждой секундой ты дальше от меня и еще несколько их и я забыт совсем.

Если ты почувствуешь от этого письма что нибудь кроме боли и отвращения ответь ради христа ответь сейчас же я бегу домой я буду ждать. Если нет страшное страшное горе. (30—32)

Целую. Твой весь

Я

Сейчас 10 если до 11 не ответишь буду знать ждать нечего.

(Январь-февраль 1923 г. Москва)

Личика

Напиши какое нибудь слово здесь. Дай Аннушке. Она мне снесет вниз.

Ты не сердись.

Во всем какая то мне угроза.

Тебе уже нравится кто то. Ты не назвала даже мое имя. У тебя есть. Все от меня что то таят. Если напишешь пока не исчезнет словечко я не пристану.

(1—27 февраля 1923 г. Москва)

Солнышко Личика!

Сегодня 1 февраля. Я решил за месяц начать писать это письмо. Прошло 35 дней. Это по крайней мере часов 500 непрерывного думанья!

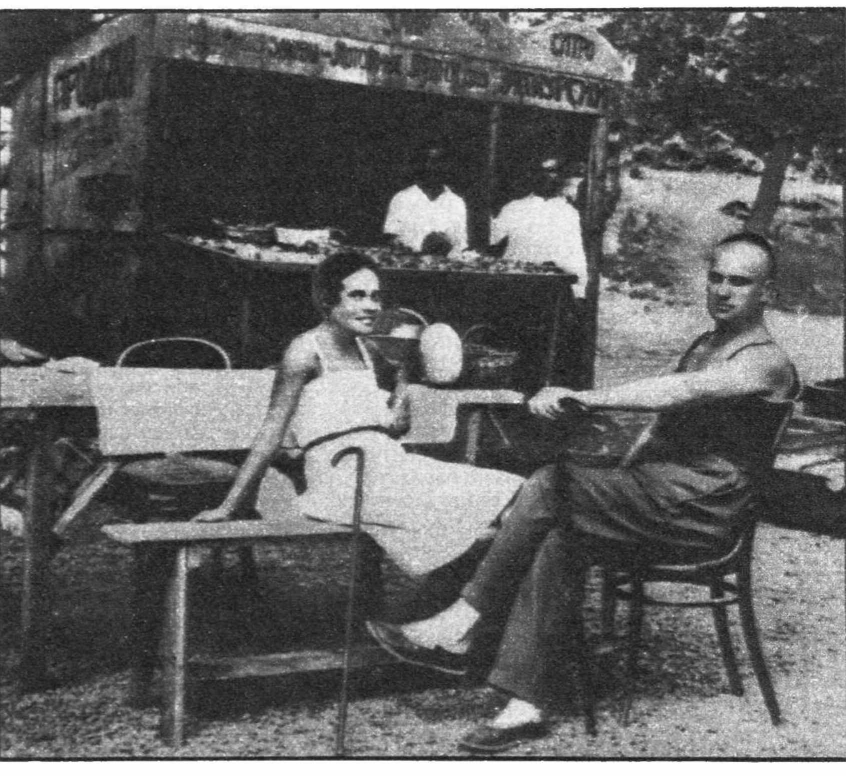
Я пишу потому, что я больше не в состоянии об этом думать (голова путается, если не сказать) потому что думаю все ясно и теперь (относительно, конечно) и в третьих потому что боюсь просто разрадоваться при встрече и ты можешь получить, вернее я всучу тебе под соусом радости и остроумия мою старую дрянь. Я пишу письмо это очень серьезно. Я буду писать его только утром когда голова еще чистая и нет моих вечерних усталости, злобы и раздражения.

На всякий случай я оставляю поля, чтоб передумав что-нибудь я б отмечал.

Я постараюсь избежать в этом письме каких бы то ни было «эмоций» и «условий».

Это письмо только о безусловно проверенном мною, о передуманном мною за эти месяцы,— только о фактах. (1 февр.) ⟨...⟩

Ты прочтешь это письмо обязательно и минутку подумаешь обо мне. Я так бесконечно радуюсь твоему существованию, всему твоему даже безотносительно к себе, что не хочу верить, что я сам тебе не важен. ⟨...⟩



Л. Ю. Брик и В. В. Маяковский. Крым. Август 1926 г.

Что делать со «старым»

Могу ли я быть другой?

Мне непостижимо, что я стал такой.

Я, год выкидывавший из комнаты даже матрац, даже скамейку, я три раза ведущий такую «не совсем обычную» жизнь, как сегодня — как я мог, как я смел быть так изъеден квартирной молью.

Это не оправдание, Личика, это только новая улика против меня, новое подтверждение, что я именно опустился.

Но, детка, какой бы вины у меня не было, наказания моего хватит на каждую — не даже, что эти месяцы, а то, что нет теперь ни прошлого просто, ни давно прошедшего для меня нет, а есть один с семнадцатого года до сегодняшнего дня длящийся теперь ничем не делимый ужас. Ужас не слово, Личичка, а состояние — всем видам челевеческого горя я б дал сейчас описание с мясом и кровью. Я вынесу мое наказание как заслуженное. Но я не хочу иметь поводов снова попасть под него. Прошлого для меня до 28 декабря, для меня по отношению к тебе до 28 февраля — не существует ни в словах, ни в письмах, ни в делах.

Быта никакого никогда не в чем не будет! Ничего старого бытового не пролезет — за ЭТО я ручаюсь твердо. Это то я уж во всяком случае гарантирую. Если я этого не смогу сделать, то я не увижу тебя никогда, увиденный, приласканный даже тобой — если я увижу опять начало быта, я убегу. (Весело мне говорить сейчас об этом, мне, живущему два месяца только для того чтоб 28 февраля в 3 часа дня взглянуть на тебя, даже не будучи уверенным что ты это допустишь.)

Решение мое ничем, ни дыханием не портить твою жизнь — главное. То, что тебе хоть месяц, хоть день без меня лучше чем со мной это удар хороший.

Это мое желание, моя надежда. Силы своей я сейчас не знаю. Если силенки не хватит на немного — помоги, детик. Если буду совсем тряпка — вытрите мною пыль с вашей лестницы. Старье кончилось (3 февраля 1923 г. 9 ч. 8 м.)

Сегодня (всегда по воскресеньям) я еще со вчерашнего дня неважный. Писать воздержусь. Гнетет меня еще одно: я как-то глупо ввернул об окончании моей поэмы Оське — получается какой-то шантаж на «прощение» — положение совершенно глупое. Я нарочно не закончу вещи месяц! Кроме того это тоже поэтическая бытовщина делать из этого какой-то особый интерес. Говорящие о поэме думают, должно быть — придумал способ интригировать. Старый приемчик! Прости Лилик — обмолвился о поэме как-то от плохого настроения. (4/II)

Сегодня у меня очень «хорошее» настроение. Еще позавчера я думал, что жить сквернее нельзя. Вчера я убедился что может быть еще хуже — значит позавчера было не так уж плохо.

Одна польза от всего от этого: последующие строчки, представляющиеся мне до вчера гадательными, стали твердо и незыблемо.

О моем сидении

Я сижу до сегодняшнего дня щепетильно честно, знаю точно так же буду сидеть и еще до 3 ч. 28 ф. Почему я сижу — потому что люблю? Потому что обязан? Из-за отношений?

Ни в каком случае!!!

Я сижу только потому, что сам хочу, хочу подумать о себе и о своей жизни.

Если это даже не так я хочу и буду думать что именно так. Иначе всему этому нет ни названия, ни оправдания.

Только думая так, я мог не кривя писать записки тебе — что «сижу с удовольствием» и т. д.

Можно ли так жить вообще?

Можно, но только не долго. Тот, кто проживет хотя бы вот эти 39 дней, смело может получить аттестат бессмертия.

Поэтому никаких представлений об организации будущей моей жизни на основании этого опыта я сделать не могу. Ни один из этих 39 дней я не повторю никогда в моей жизни.

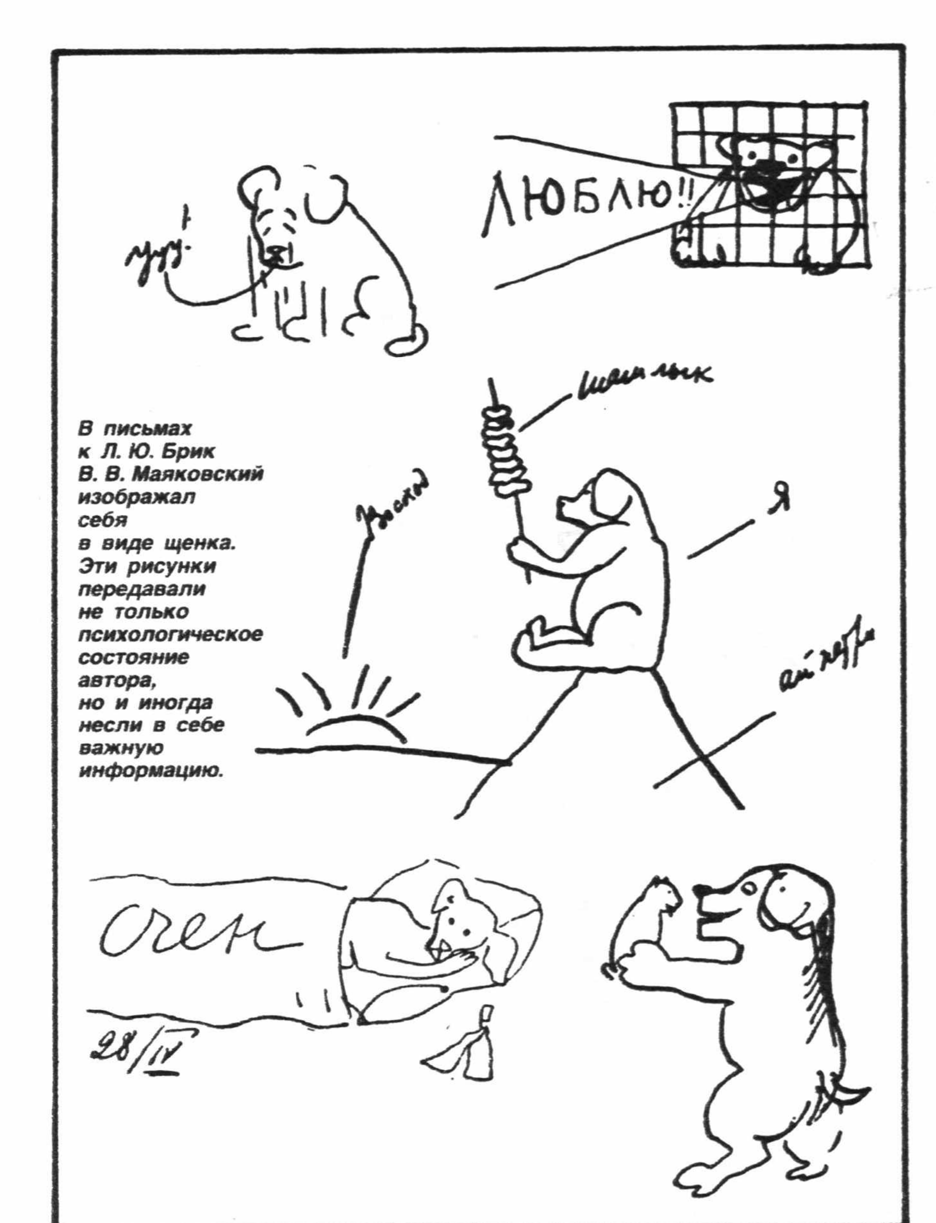
Я только могу говорить о мыслях, об убеждениях, верах, которые у меня оформляются к 28-ому, и которые будут точкой из которой начнется все остальное, точкой, из которой можно будет провести столько линий сколько мне захочется и сколько мне захотят.

Если бы ты не знала меня раньше это письмо было бы совершенно не нужно, все решалось бы жизнью. Только потому что на мне в твоем представлении за время бывших плаваний нацеплено миллион ракушек — привычек и пр. гадости — только поэтому тебе нужно кроме моей фамилии при рекомендации еще и этот путеводитель.

Теперь о создавшемся:

Люблю ли я тебя? (5/II 23 г.)

Я люблю, люблю, несмотря ни на что и благодаря всему, любил, люблю и буду любить, будешь ли ты груба со мной или ласкова, моя или чужая. Все равно люблю. Аминь. Смешно об этом писать, ты сама это знаешь.



В письмах к Л. Ю. Брик В. В. Маяковский изображал себя в виде щенка. Эти рисунки передавали не только психологическое состояние автора, но и иногда несли в себе важную информацию.

Мне ужасно много хотелось здесь написать. Я нарочно оставил день продумать все это точно. Но сегодня утром у меня невыносимое ощущение ненужности для тебя всего этого.

Только желание запротоколить для себя продвинуло эти строчки.

Едва ли ты прочтешь когда-нибудь написанное здесь. Самого же себя долго убеждать не приходится. Тяжко, что к дням, когда мне хотелось быть для тебя крепким и на утро перенеслась эта нескончаемая боль. Если совсем не совладаю с собой — больше писать на стану. (6/II). 〈...〉

Опять о моей любви. О пресловутой деятельности. Исчерпывает ли для меня любовь все? Все, но только иначе. Любовь это жизнь, это главное. От нее разворачиваются и стихи и дела и все пр. Любовь это сердце всего. Если оно прекратит работу все остальное отмирает, делается лишним, ненужным. Но если сердце работает оно не может не проявляться в этом во всем. Без тебя (не без тебя «в отъезде», внутренне без тебя) я прекращаюсь. Это было всегда, это и сейчас. Но если нет «деятельности» — я мертв. Значит ли это что я могу быть всякий, только что «цепляться» за тебя. Нет. Положение о котором ты сказала при расставании «что ж делать, я сама не святая, мне вот нравится «чай пить». Это положение при любви исключается абсолютно. 〈...〉

О твоем приглашении

Я хотел писать о том любишь ли ты меня, но твое письмо совершенно меня разбудоражило, я должен для себя еще раз остановиться на нем:

Может ли быть это письмо продолжением отношений? Нет, ни в каком случае нет.

Пойми, детик! Мы разошлись, чтоб подумать о жизни в дальнейшем, длить отношения не хотела ты, вдруг ты вчера решила что отношения быть со мной могут, почему же мы не вчера поехали, а едем через 3 недели? Потому что мне нельзя? Этой мысли мне не должно и являться, иначе мое сидение становится не добровольным, а заточением, с чем я ни на секунду не хочу согласиться.

Я никогда не смогу быть создателем отношений, если я по мановению твоего пальчика сажусь дома реветь два месяца, по мановению другого срываюсь даже не зная что думаешь и, бросив все, мчусь. Не словом а делом я докажу тебе что я думаю обо всем и о себе также прежде чем сделать что-нибудь.

Я буду делать только то что вытекает и из моего желания.

Я еду в Питер.

Еду потому, что два месяца был занят работой, устал, хочу отдохнуть и развеселиться.

Неожиданной радостью было то, что это совпадает с желанием проехаться ужасно нравящейся мне женщины.

Может ли быть у меня с ней что-нибудь? Едва ли. Она чересчур мало обращала на меня внимания вообще. Но ведь и я не ерунда — попробую понравиться.

А если да, то что дальше? Там видно будет. Я слышал, что этой женщине быстро все надоедает. Что влюбленные мучаются около нее кучками, один недавно чуть с ума не сошел. Надо все сделать чтоб оберечь себя от такого состояния.

Чтоб во всем этом было мое участие я заранее намечаю срок возврата (ты думаешь, чем бы дитя не тешилось, только б не плакало, что же, начну с этого), я буду в Москве пятого, я все сведу так, чтоб пятого я не мог не вернуться в Москву. Ты это, детик, поймешь. (8/II 23).

Любишь ли ты меня?

Для тебя, должно быть, это странный вопрос — конечно любишь. Но любишь ли ты меня? Любишь ли ты так, чтоб это мной постоянно чувствовалось?

Нет. Я уже говорил Осе. У тебя не любовь ко мне, у тебя — вообще ко всему любовь. Занимаю в ней место и я (может быть даже большое) но если я кончаюсь то я вынимаюсь, как камень из речки, а твоя любовь опять всплывается над всем остальным. Плохо это? Нет, тебе это хорошо, я б хотел так любить. 〈...〉.

Детик, ты читаешь это и думаешь — все врет, ничего не понимает. Лучик, если это даже не так, то все равно это мной так ощущается. Правда, ты прислала, детик, мне Петербург, но как ты не подумала, детик, что это на полдня удлинение срока! Подумай только, после двухмесячного путешествия подъезжать две недели и еще ждать у семафора полдня! (14/II 23 г.) 〈...〉.

Лилятик — все это я пишу не для укора, если это не так я буду счастлив передумать все. Пишу для того чтоб тебе стало ясно — и ты должна немного подумать обо мне.

Если у меня не будет немного «легкости» то я не буду годен ни для какой жизни. Смогу вот только как сейчас доказывать свою любовь каким-нибудь физическим трудом. (18/II 23 г.) 〈...〉

Семей идеальных нет. Все семьи лопаются. Может быть только идеальная любовь. А любовь не установишь никаким «должен», никаким «нельзя» — только свободным соревнованием со всем миром.

Я не терплю «должен» приходить!

Я бесконечно люблю, когда я «должен» не приходить, торчать у твоих окон, ждать хоть мелькание твоих волосиков из авто.

Быт

Я виноват во всем быте, но не потому что я лиричек-средняечек, любящий семейный очаг и жену-пришивальщицу пуговиц.

Нет!

Тяжесть моего бытового сидения за 66 какая-то неосознанная душевная «итальянская забастовка» против семейных отношений, унизительная карикатура на самого себя. 〈...〉

Я чувствую себя совершенно отвратительно и физически и духовно. У меня ежедневно болит голова, у меня тик, доходило до того что я не мог чаю себе налить. Я абсолютно устал, так как для того чтоб хоть немножко отвлечься от всего этого я работал по 16 и по 20 часов в сутки буквально. Я сделал столько, сколько никогда не делал и за полгода.

Характер

Ты сказала — чтоб я подумал и изменил свой характер. Я подумал о себе, Лилик, что б ты не говорила, а я думаю что характер у меня совсем не плохой.

Конечно, «играть в карты», «пить» и т. д. это не характер, это случайность — довольно крепкие, но мелочи (как веснушки: когда к тому есть солнечный повод они приходят и уж тогда эту «мелочь» можно только с кожей снять, а так, если принять во время меры, то их вовсе не будет или будут совсем незаметные).

Главные черты моего характера — две:

1) Честность, держание слова, которое я себе дал (смешно?).

2) Ненависть ко всякому принуждению. От этого и «дрязги», ненависть к домашним принуждениям и... стихи, ненависть к общему принуждению.

Я что угодно с удовольствием сделаю по доброй воле, хоть руку сожгу, 〈а〉 по принуждению даже несение какой-нибудь покупки, самая маленькая цепочка вызывает у меня чувство тошноты, пессимизма и т. д. Что ж отсюда следует что я должен делать все что захочу? Ничего подобного. Надо только не устанавливать для меня никаких внешне заметных правил. Надо то же самое делать со мной, но без всякого ощущения с моей стороны. 〈...〉 Целую Кисю. (27/II 23).

Какая жизнь у нас может быть, на какую я в результате согласен? Всякая. На всякую. Я ужасно по тебе соскучился и ужасно хочу тебя видеть. 〈...〉

ПОБЕДА ВОСПОМИНАНИЙ

Предлагаем вниманию читателей новые стихи Иосифа Бродского, переданные в редакцию по просьбе поэта.

Иосиф БРОДСКИЙ

ПАМЯТИ ОТЦА: АВСТРАЛИЯ

Ты ожил, снилось мне, и уехал
в Австралию. Голос с трехкратным эхом
окликал и жаловался на климат
и обои: квартиру никак не снимут,
жалко, не в центре, а около океана,
третий этаж без лифта, зато есть ванна,
пухнут ноги. «А тапочки я оставил» —
прозвучавшее внятно и деловито.
И внезапно в трубке завыло «Аделаида! Аделаида!»,
загремело, захлопало, точно ставень
бился о стенку, готовый сорваться с петель.

Все-таки это лучше, чем мягкий пепел
крематория в банке, ее залога —
эти обрывки голоса, монолога
и попытки прикинуться нелюдимом

в первый раз с той поры, как ты обернулся дымом.

ЭЛЕГИЯ

Постоянство суть эволюция принципа помещенья
в сторону мысли. Продолженье квадрата или
параллелепипеда средствами, как сказал бы
тот же Клаузевиц, голоса или извилин.
О, сжавшаяся до размеров клетки
мозга комната с абажуром,
шкаф типа «гей славяне», четыре стула,
козетка, кровать, туалетный столик
с лекарствами, расставленными наподобье
кремля или, лучше сказать, нью-йорка.
Умереть, бросить семью, уехать,
сменить полушарие, дать вписать
другие овалы в четырехугольник
— тем громче пыльное помещенье
настаивает на факте существованья,
требуя ежедневных жертв от новой
местности, мебели, от силуэта в желтом
платье; в итоге — от самого себя.
Пауку — одно удовольствие заштриховывать пятый угол.
Эволюция не приспособленье вида
к незнакомой среде, но победа воспоминаний
над действительностью. Зависть ихтиозавра
к амебе. Расхлябанный позвоночник
поезда, громыхающий в темноте
мимо плотно замкнутых на ночь створок
деревянных раковин с их бесхребетным, влажным,
жемчужину прячущим содержимым.

* * *

Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером
подышать свежим воздухом, веющим с океана.
Закат догорал на галерке китайским веером,
и туча клубилась, как крышка концертного фортепьяно.

Четверть века назад ты питала пристрастье к люля и к финикам,
рисовала тушью в блокноте, немножко пела,
развлекалась со мной; но потом сошлась с инженером-химиком
и, судя по письмам, чудовищно поглупела.

Теперь тебя видят в церквах в провинции и в метрополии
на панихидах по общим друзьям, идущих теперь сплошною
чередой; и я рад, что на свете есть расстоянья более
немыслимые, чем между тобой и мною.

Не пойми меня дурно. С твоим голосом, телом, именем
ничего уже больше не связано; никто их не уничтожил,
но забыть одну жизнь человеку нужна, как минимум,
еще одна жизнь. И я эту долю прожил.

Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографии,
ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива?
Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии.
Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.

* * *

Сюзанне МАРТИН

Пчелы не улетели, всадник не ускакал. В кофейне
«Яникулум» новое кодло болтает на прежней фене.
Тая в стакане, лед позволяет дважды
вступить в ту же самую воду, не утоляя жажды.

Восемь лет пронеслось. Вспыхивали, затухали
войны, рушились семьи, в газетах мелькали хари,
падали аэропланы, и диктор вздыхал: «о Боже».
Белье еще можно выстирать, но не разгладить кожи.

Вещи затвердевают, чтобы в памяти их не сдвинуть
с места; но в перспективе возникнуть трудней, чем сгинуть
в ней, выходящей из города, переходящей в годы
в погоне за чистым временем, без счастья и терракоты.

Жизнь без нас, дорогая, мыслима — для чего и
существуют пейзажи: бар, холмы, кучевое
облако в чистом небе над полем того сраженья,
где статуи стынут, празднуя победу телосложенья.
18.1.1989

ПОКА ТЕЛЕТАЙП МОЛЧАЛ

Фото Сергея ПЕТРУХИНА

Владимир ЦВЕТОВ

амолет стал снижаться, и по экрану, вмонтированному в спинку стоявшего впереди кресла, побежали заключительные титры не очень нового фильма аэрофлотовской кооперативной студии «Женщина на рельсах» с Натальей Негодой в роли Анны Карениной. Продолжительность картины — полтора часа — точно соответствовала времени полета от Москвы до острова Кунашир, и «Аэрофлот» сохранял картину в авиафильмотеке. Сосед справа досматривал на своем экране «дайджест» из телепрограмм «Взгляда» той поры, когда на голове Вячеслава Листьева была густая шевелюра, а широкую улыбку Александра Любимова красили собственные зубы. По таким «дайджестам» мир изучал теперь историю перестройки в СССР.

Задушевный голос стюардессы поделился в наушниках последней полетной новостью: «Через несколько секунд наш самолет приземлится в международном аэропорту имени Шпанберга в городе Южно-Курильске». Затем голос обрел торжественные ноты, совсем как в те, уже далекие, годы, когда аэрофлотовские стюардессы старательно читали свои радиообращения к пассажирам-иностранцам по бумажке, на которой английский, французский или японский текст был написан русскими буквами. «Экипаж и командир корабля,— произнес голос,— желает вам приятно и весело отметить 270-летие открытия русскими мореплавателями Южной Курильской гряды. Праздник начинается сегодня». Я взглянул на наручные часы: 9 часов утра 2 июля 2009 года.

Вложив в портфель розданный пассажирам на память о полете альбом «Новое политическое мышление и советско-японский мирный договор. Страницы истории», я приготовился к выходу из самолета.

Даже если б я попал в Курилию — так называют ныне острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомай или, по старой японской терминологии, «северные территории» — не в праздничный день, все равно я провел бы его приятно и весело, как и пожелала пассажирам стюардесса. На островах расположилось предприятие, принадлежащее совместной советско-японской акционерной компании ЗСКМ. Аббревиатура означает: «Земля сказок народов мира». Впрочем, в США предприятие именуют «Курильским диснейлендом», в Западной Европе — «Юнайтед нейшнс вилледж», то есть «Деревня объединенных наций», в Японии — «Юмэ но рэтто», что означает «Архипелаг мечты». Акционерная компания не протестует, потому что все названия верно отражают суть предприятия.

Передвижной эскалатор помог пассажирам быстро спуститься с самолета в электромобили. На их солнечных батареях значились эмблемы ВАЗа, «Тоёты», «Хонды», завода в Елабуге. Кому требовалось отдохнуть после полета, отправился в гостиницу, а кто жаждал немедля окунуться в сказку, поехал в ЗСКМ.

Попасть в Курилию можно лишь по путевке компании ЗСКМ. Путевки продаются повсюду в мире вместе с бонами, которые в Курилии заменяют деньги. Иметь боны весьма выгодно. В магазинах Курилии товары продаются беспошлинно, и многие туристы возвращаются домой с сувенирами в виде, скажем, персонального компьютера пятого поколения, который стоит здесь дешевле, чем в магазинах «Электроника» в Москве или, к примеру, в Саратове. Советский рубль давно уже конвертируемый, и наши туристы покупают боны без ограничений.

Полет по трассе Токио — Москва и далее в Западную Европу и Токио — Анкоридж на Аляске обходится на 20 процентов дешевле, если воспользоваться маршрутом с посадкой на Кунашире. Надо только выполнить условие: переночевать в Курилии. Сутки не покажутся напрасно потерянными. Здесь прекрасные отели и отлично оборудованные здравницы на горячих источниках. А ужин и завтрак, которые вам подадут, приготовлены из столь экологически чистых продуктов, что приятных воспоминаний о них хватает до следующего приезда в Курилию. Конечно, сэкономленные на авиабилете деньги достанутся компании ЗСКМ, но никто из побывавших тут еще не жалел об этом.

Добираются до Курилии и морем. В порты Южно-Курильск на Кунашире и Курильск на Итурупе заходят прогулочные авианосцы и пассажирские подводные лодки. Осуществляя сокращение вооруженных сил и вооружений, СССР и США договорились переоборудовать часть списываемых боевых кораблей в туристские суда. Круизный авианосец «Мидуэй» за один раз доставляет из Сан-Диего, что в Калифорнии, в порты Курилии пять тысяч туристов. Эсминцы бывших японских ВМС плавают на линиях Хакодатэ — Южно-Курильск и Токио — Курильск.

В Курилии не спрашивают паспортов и въездных виз. Однако не пустить в ЗСКМ могут — в случае, если у туриста обнаружатся оружие или наркотики. Специальная аппаратура в самолетах, на кораблях просвечивает и туристов, и их багаж.

На Кунашире — мир сказок прошлого. Замок, где танцует и теряет башмачок Золушка. Дом, в котором обитают Белоснежка и семь гномов. Избушка на курьих ножках — пристанище Бабы Яги, королевские покои со Спящей царевной. Словом, все, о чем рассказывает эпос народов мира, воспроизведено на Кунашире в натуральную величину и так достоверно, что любой турист в состоянии выполнить задачу, скажем, принца и поцелуем пробудить царевну.

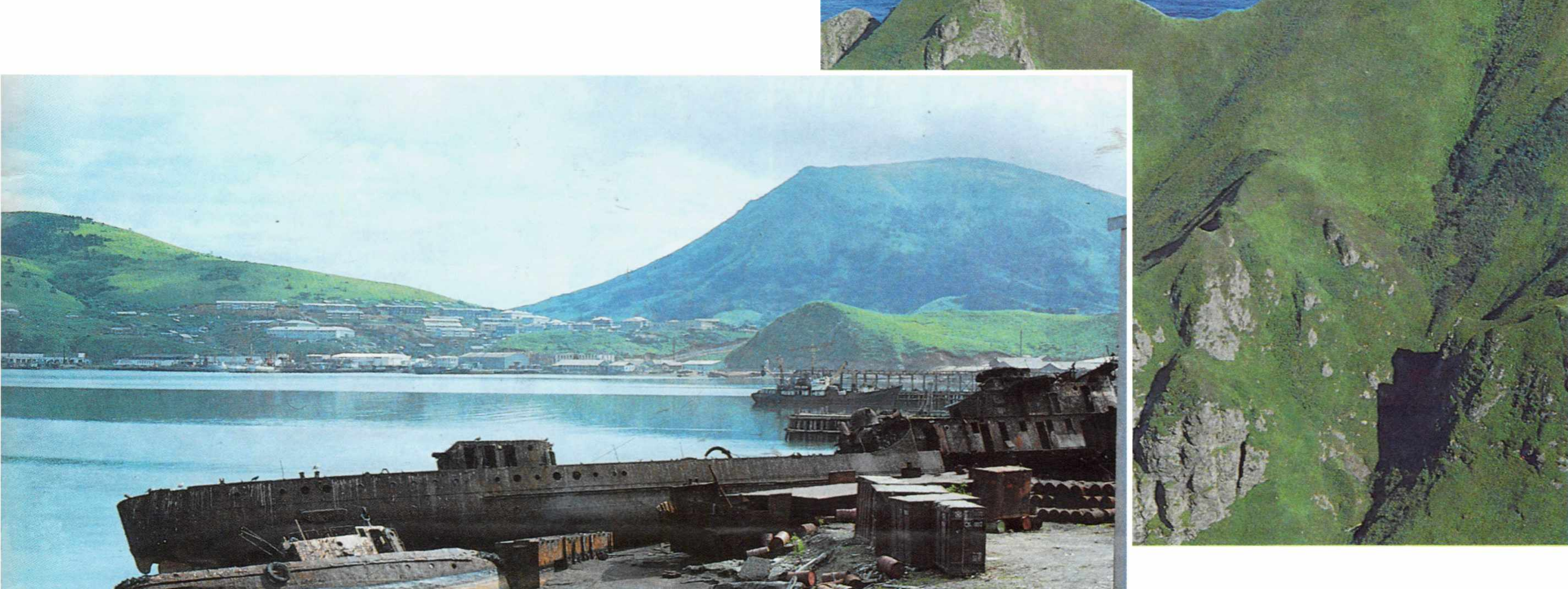
Ковбои, пираты, охотники за слонами, золотоискатели — они живут и действуют, стреноживая лошадей и сражаясь с индейцами, беря на абордаж купеческие парусники, преследуя стада слонов, намывая тяжелый желтый песок. И ни за что не подумаешь, что все это — роботы. Когда я поцеловал Спящую царевну, то ощутил тепло ее кожи и почувствовал вкус соли в слезинке, скатившейся по ее щеке.

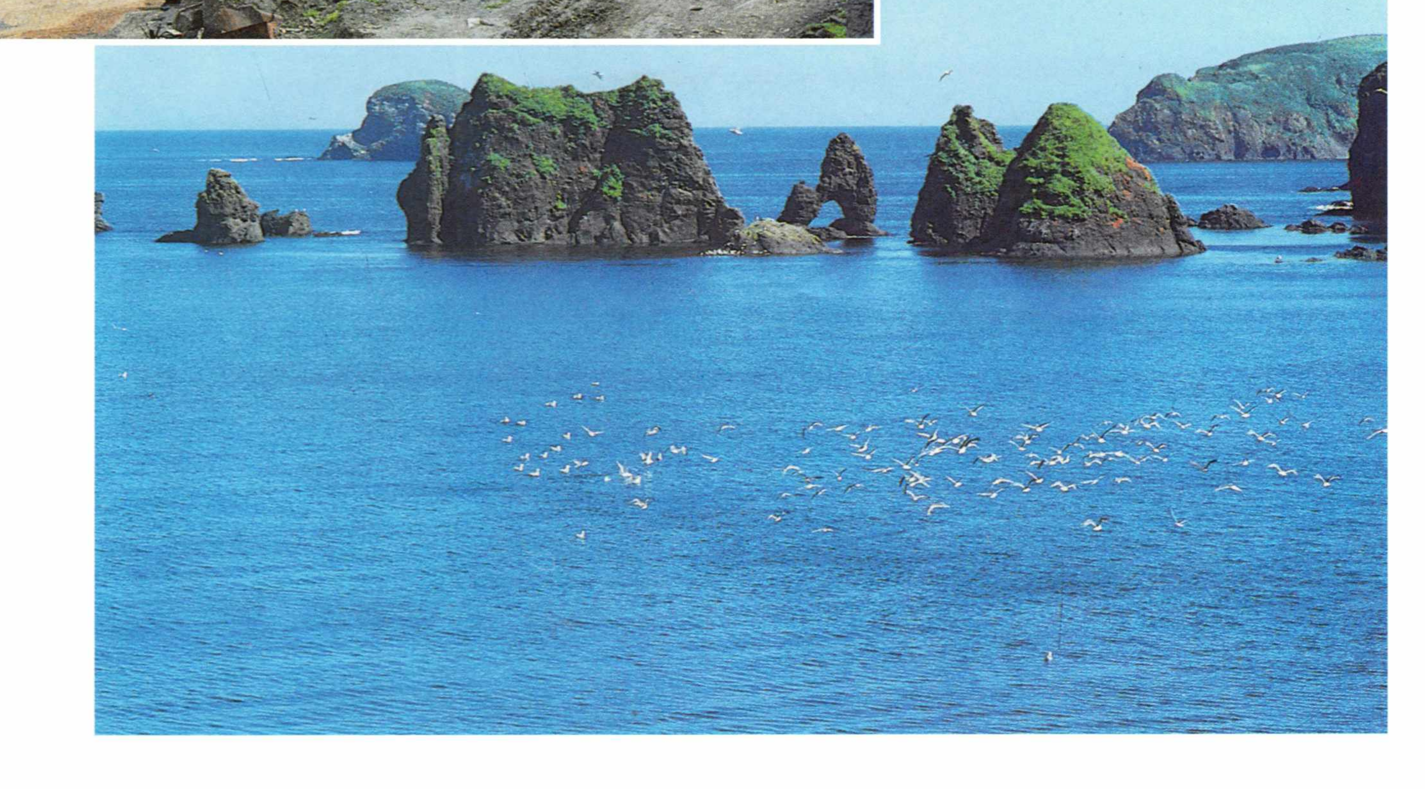
Мировая конверсия переориентировала хитроумных создателей оружия на изобретение оборудования для аттракционов. Курилия сделалась полигоном этой продукции. Советско-японская компания ЗСКМ — крупнейший заказчик «Локхида», «Боинга», «Бофорса». Поэтому-то и не выдержали конкуренции с ЗСКМ американский и японский «диснейленды», славившиеся аттракционами в 70—80-х годах XX века.

На Итурупе воссоздан тоже сказочный мир, но иной, чем на Кунашире. На Итурупе обрели реальность придумки братьев Стругацких, Сакё Комацу, Айзека Азимова и многих других писателей-фантастов. Туристу предоставляется возможность заключить, в чем эти фантасты оказались провидцами, а в чем действительность превзошла их воображение.

Мой путь лежал, однако, мимо чудес. Меня влек Музей истории Южной Курильской гряды. Предметы, обнаруженные при археологических раскопках или сохраненные с незапамятных времен, документы, дошедшие до нас из прошлого,— в музее царила не фантазия, а наука. Оснастка стругов Семена Дежнева и братьев Михаила и Тараса Стадухиных, приплывших к Курильским островам в XVII веке. Карты Ивана Козыревского, который первым описал в 1711—1713 годах не только Курилы, но и остров Хоккайдо. Макет бота Мартына Шпанберга, открывшего Кунашир и давшего имя нынешнему кунаширскому международному аэропорту. Указ императрицы Екатерины Второй от 30 апреля 1779 года, одобрявший приведение южнокурильских айну в российское подданство.

Здесь же — донесение чиновника То-





ВЗМОРЬЕ

кунаи Могами, первого японца, ступившего на курильскую землю. Как засвидетельствовал он сам, это произошло лишь в 1785 году.

Вместе со мной экспонаты разглядывают туристы, то ли американцы, то ли англичане. Они выглядят ровесниками пожухлой известинской страницы. Тем более что рядом — подлинники писем советских людей, полученные в те же дни Центральным телевидением. «Слышу по радио, по телевидению, читаю в газетах, что Япония нагло добивается южнокурильских островов,— говорится в одном из них, подписанном Александром Петровым из Белгородской области.— Нельзя отдавать японцам ни кусочка нашей кровной земли».

А на соседнем стенде — японские газеты и журналы. Они сохранились гораздо лучше, чем «Известия». В них приводятся аргументы, обосновывавшие прямо противоположное: Южная Курильская гряда принадлежит Японии. И тут тоже письма. На сей раз японцев. Они не менее резко, чем Александр Петров, требуют отдать им острова. Туристы в растерянности. Чему верить? Вторая мировая война и послевоенное мирное урегулирование для них так же далеки, как крестовые походы и разграничение государств крестоносцев. И я понял, сколь мудрыми были те, кто двадцать лет назад набрался смелости отодвинуть в сторону взаимные претензии и проявить политическую волю, чтобы выйти из тупика и продемонстрировать способ решения спорных вопросов на основе учета интересов и чувств друг друга. Благодаря этому четыре острова из архипелага раздора превратились в место, где людей из самых разных стран объединяет радость.

До отлета с Кунашира оставалось время, и, коротая его, я разглядывал надписи и рекламные плакаты в здании аэропорта имени Шпанберга. В огромной раме — увеличенная репродукция резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Она объявила четыре острова Южной Курильской гряды демилитаризованной и безъядерной зоной. В похожих рамах — тексты законов парламентов всех ядерных держав, обязывающие уважать безъядерный и демилитаризованный статус островов.

На рекламном щите — крупная надпись: совместная советско-японская акционерная компания «Земля сказок народов мира» приглашала на работу рабочих и служащих — как русских, так и японцев. Японские, американские, южнокорейские, китайские фирмы предлагали рыболовецкие суда и сельскохозяйственные машины с немедленной доставкой в Курилию или на Хоккайдо. Соседство с ЗСКМ вызвало, судя по рекламе, новый подъем экономики этого японского острова. На большой цветной карте обозначены японские кладбища, оставшиеся на четырех островах с довоенной поры. Из подписи явствовало: родственники похороненных на кладбище не нуждаются в туристских путевках, чтобы приехать в Курилию поклониться могилам. И, наконец, самый широкий рекламный щит: «Курилия приглашает очередную Зимнюю Олимпиаду!»

* * *

Скрежещущий звук ожившего телетайпа разогнал видение аэропорта имени Шпанберга и вернул меня к реальности. ТАСС начало передавать заявление представителя МИД СССР. В нем снова напоминалось, что принадлежность Советскому Союзу всех Курильских островов, включая их южную часть, определена итогами второй мировой войны и имеет неоспоримые исторические и правовые основания...

Дежурный редактор сорвал с телетайпа ленту с текстом заявления и отнес в эфирную студию. Диктор прочтет заявление в очередном выпуске телевизионных новостей.

СУДЬБА КОМАНДАРМА

Евгений ДОБРОВОЛЬСКИЙ **РАССКАЗ**

Вот он стоит передо мной в тамбуре своего штабного вагона, его подняли с постели, он босиком, на нем малиновый халат с помпошками на поясе. «Товарищ командарм!» — дурным голосом орет военный комендант, вскидывая трясущиеся пальцы к матерчатому, заляпанному козырьку летней своей кавалерийской фуражки, а он зевает, легендарный командарм Павел Тубенко,— ох-хо-хо — и длинным ногтем — это мода тогда была такая, на мизинце отпускать ноготь, изыск балтийца,— почесывает волосатую грудь. Утреннее, нежаркое солнце поднимается над крышами грузовых пакгаузов в зеркальном окне за его широкой спиной и слепит меня, точно это я встречаю его на утреннем перроне в Тацинской, в сорока верстах от Морозовской, хотя с самого начала тут возникает неувязка: он не мог в то время быть в Тацинской, я проверял, но это ничего не меняет. Он выходит в тамбур своего вагона, я вижу его сонное лицо, худые лодыжки, длинные, костлявые руки с тяжелыми, темными кистями.

— Мне его жалко,— говорю я, чтоб сбить изображение,— мне его грустно...

— Вот она, жизня человеческая,— в тон, печально соглашается дядя и пытается исполнить старинный романс «Пара гнедых».— Были когда-то и мы рысаками, и кучеров мы имели лихих...— поет он и при этом делает такой жест, точно расчесывает усы, чтоб мы поняли, что того кучера звали Иосиф Виссарионович.— И кучеров, да, да, да...

Мы сидим на кухне, у нас закусон по сезону, без затей: у нас соленые огурчики, квашеная капустка, папа ее полил постным маслом и припудрил сахарным песком — тут главное не переспастить,— у нас котлетки домашние, селедочка на газетке, прямо так порезанная крупно, по-плотницки, с кишкой (мама брезгливо взглянула на эту нашу селедку и, поджав губы, ушла спать), у нас ветчинка со слезой, совсем свеженькая («Зачем мне чины, когда нет ветчины?» — спрашивает папа, делает круглые глаза, потирает руки. Еще он говорил: «На мой век сосисок хватит» — и ведь как в воду глядел!), у нас выпивон — одна бутылка уже давно снесена на пол, кошка Сильва, принюхиваясь, время от времени дотрагивается до нее мягкой лапой, тогда из-под стола доносится рокочущий стеклянный звук, а вторую бутылку мы ополовинили по маленькой и полируем это дело домашним виноградным вином из кислородной подушки, которую дядя спрятал за спинку стула и цедит из черного краника божественный напиток, пропахший резиной, в эмалированную кружку с изображением рыбки, милой такой рыбули с красными искорками на плавниках.

Сидим, беседуем о том о сем, но образ легендарного командарма витает перед нами, на него все выходит и замыкается, и это очень злит моего папу.

— Ну, хорошо, хорошо,— говорит он и делает ладонью по направлению ко мне такое движение, будто проверяет упругость воздуха,— с тебя когда-нибудь погоны срывали? Нет... Ты лампасы спарывал? Машину у тебя отбирали, я тебя спрашиваю. Квартиру? Поликлинику? Дачу?.. Авоську кремлевскую? Ты котлетку-то ешь, ешь, пока батька жив, давай закусывай. Ты стоял перед искушением, я тебя спрашиваю! Нет! Ну, хорошо, нет, тогда проще. Упростим задачку, ты уходил от бабы, которую любил?

— Ладно, оставь его,— говорит дядя.

— Нет, нет, нет... Он мне тут антимонии разводит, и я спрашиваю — уходил?

— Нет,— говорю я.

— Ну так о чем мне с тобой разговаривать? Ты ж ведь ничего **этого** не знаешь. А маршал твой дундук. Так и передай ему!

— Слушаюсь! — говорю я.

— Все как один отдадим свои голоса за Богом ниспосланных кандидатов! — говорит дядя, и это означает, что уже разлито и пора.

Папа выпивает, крякает, надкусывает огурец и, обернувшись ко мне, требует:

— Так и передай!

— Заметано.

На некоторое время легендарный командарм исчезает. Его образ теряет конкретность, в табачном дыму несутся бронепоезда, и мешочники на тифозных станциях вытирают селедочные руки о газету. Что я могу передать и в какой форме? Я есть и меня нет. Моего имени не вспомнят благодарные потомки, его не помещают на титуле, как я заявляю торжественно, когда есть к тому повод вроде сегодняшнего. Я записываю воспоминания. Это эпидемия какая-то идет, все вспоминают, а я — **литзаписчик,** словото какое гнусное! я — **литраб,** литературный работник, готовый записать и оформить в изящной форме, и в настоящее время пишу за маршала, бывшего нашего соседа по даче: жили не так чтоб рядом, но близко. Писать он, естественно, не может. Не умеет. Но ему нужна книга. И чтобы она выглядела посолиднее. Он рассказывает и однажды рассказал про командарма Тубенко. Имя было знакомое, оно всплыло из каких-то напластований моей памяти (слышал, читал, больше — слышал), я начал сопоставлять одно с другим, и меня понесло. Опасное дело — воспоминания!

Папа тем временем рассказывает, как один старичок, назвавшийся участником первой русской революции, выступает перед школьниками. Он это все в лицах изображает. Дядя подался вперед и ждет кульминации, а потому коротким взмахом руки призывает меня к вниманию. Тихо! А папа работает один за всех — за пионервожатую, молодую девицу с красным галстуком на нежной шейке, за классную руководительницу, дамочку **пикантес,** не отгулявшую еще фартовые свои годочки,— у нее как раз первая русская революция на уме! — за старичка, которого где-то нашли и привели под руки, вот он сидит, старенький, с выцветшими глазами, и за ребят, которые томятся в душном помещении, сразу три класса, ковыряются в носу и слушают ветерана.

— Ну вот, детки,— говорит папа дребезжащим, старческим голосом,— там, где стоит ваша светлая школа, стояла **тюрма** (именно так), а там, где проходит эта дорога и бегут автобусы, тянулась разбитая булыжная мостовая, по которой вели колодников, а там, где расположен сквер, там была баррикада, и один черный такой, курчавый рабочий выступал под красным знаменем и говорил, что фабрики надо отдать рабочим, а землю — крестьянам, и так хорошо говорил... Но что он дальше сказал, я, ребятки, не расслышал: тут наш есаул и скомандовал: «Шашки вон! Марш, марш!»

— Оговорился! — простодушно охает дядя, точно все это было на самом деле.— Ты смотри! — И нам становится весело, и мы хохочем. Дядя громче всех, при этом он порывается рассказать про одного генерала, который оговорился на торжественном собрании в Краснознаменном зале Центрального Дома Советской Армии. А папа между тем цепким таким взглядом держит меня в панораме: чем-то подозрительным кажется ему выражение моего лица. Точно через прицел он на меня смотрит. Враг я или кто? Но на всякий случай, чтоб притупить мою бдительность, он вертко берет в сторону и говорит, обращаясь к дяде:

— Я ему всегда внушал — будь военным человеком! Самая демократическая организация на свете — армия. Все ясно, все понятно. Полковник всегда умней подполковника! На начальство гляди веселыми глазами! А у них субординация страшная, ты

даже себе не можешь представить. Нам не снилось. У них ты с Симоновым вместе будешь пить, я к примеру, Вась, Вась, вместе с одной бабы приехали, оба в исподнем, такая картинка, и все равно ты перед ним тянуться будешь, потому что у него на три романа толще! Верно, сынок?

Теперь я сынок и другого имени для меня нет, и я смотрю на себя как бы со стороны. Тем более столько лет прошло, и все это не может быть иначе, как со стороны. Вот мы сидим в далеком далеке, папа, дядя и я, сынок. Дядя хохочет — ха, ха, ха...— а я думаю, чего ему так смешно, что он знает о моей жизни, о том, как там, у нас, по-настоящему, как представляет себе эту тягостную работу — писать за кого-то, и на душе у меня тошно.

— Вот ты говоришь, Сталин, Сталин,— вздыхает папа,— а в сорок первом году, в самое лютое время, появляется «Фронт» Корнейчука. Очень смелая вещь! Рискнул человек. Не все так просто. Ты тему ухватить не можешь. И сейчас вот это, ну, ты знаешь, как это, ну, от премии бригадир отказывается, партком заседает. Вот парень нашел сюжет. И сделал как часики. По грани прошел. Сделал смело, ничего не скажу.

— Я писатель, я не часовщик. У меня другая профессия,— говорит сынок. А зачем? Лучше б смолчал. Дядя с папой перекидываются взглядом, им даже как-то неловко за сынка. И жалко его. Ну, ничего, молодой еще.

— Политику надо понимать, а он мимо хочет проскочить,— говорит папа.— Нет, милый, с такой позицией слишком у тебя аккуратно получается. Не то время.

— Это точно,— вздыхает дядя.

Как объяснить им, и возможно ли, думаю я, что совсем не в смелости дело, не во времени, не в его законах и не в теме, которую, по мнению папы, я никак не могу ухватить, потому что хочу обойти политику, а ее не обойти. Они ведь не поймут, что внутри меня давно сидит какой-то маленький человечек. Он в сером костюмчике, на нем аккуратный галстук. Он не пижон. Нет. То он похож на нашего главного бухгалтера, то на секретаря нашей творческой организации, иногда я узнаю его интонации и не общее выражение лица. Он учит меня жизни. Он осторожный и мудрый. Знаешь, говорю я ему, мне не надо писать ни про то, ни про это, но, когда я сажусь за свою работу, я должен знать, что могу писать и про то и про это... Про что хочу! Ты меня понимаешь? «Не валяй дурака! Живешь и живи»,— говорит он. А потом спрашивает: о чем ты хочешь написать?

Давно прошедшее время. Сынок в том возрасте, когда хочется поиграть со словом. Так его положить и эдак. И похлопать по пузу, чтоб оно само легло на место. Ему очень хочется описать, как в четвертом классе он идет на первый свой экзамен. Мама выгладила ему шелковую рубашку, перешитую из папиной, на нем запонки, как у взрослого, и красный галстук. И самое главное — он знает **все**! Никогда уже у него такого не будет, и с тех пор это неповторимое ощущение заслуженного праздника — я знаю все! — подкосило его на корню. Ему надо докопаться до сути. Он максималист. Буквоед-максималист. Ему надо об этом написать. «Зачем?» — удивляется серый человек. Я хочу остановить время, говорит сынок. Это откровенно. Остановить. Дурак! И еще ему необходимо запечатлеть, как кипит чайник. Как он стоит на плите. Как сначала возникает звук, точно издали приближается машина, потом звук меняется, чайник делается похожим на живое существо, он сердится, крышка на нем подпрыгивает, плюется кипятком и не глядит на сынка, презирает, хотя сынок-то и должен его выключить. При чем тут политика.

Я закрываю глаза, и меня несет по рельсам в штабном вагоне, и голоса доносятся до меня с каким-то запозданием, как по проводам, которые летят в прямоугольном, старомодном окне за тяжелой, дубовой рамой, над приспущенной казенной белой занавесочкой то полого вниз, то круто вверх. Мелькают столбы с белыми фарфоровыми изоляторами на железных ржавых перекладинах, красноармейцы на переездах с винтовками к ноге в краснозвездных серых шлемах, кирпичные водокачки, сонные деревни. И Клава наклоняется ко мне душистой, свежей щекой. «Козлик»,— говорит она певучим молодым голосом, целует мою руку и опускает себе на грудь. Я прорываюсь сквозь Клавин расстегнутый лифчик, его полотняная неприступность с одной стороны и нежность ее кожи с другой создают взрывную ситуацию. Я задыхаюсь. Клава — мечта красного командира! Клава! Но о ней потом. О Клаве.

Я пишу воспоминания за военачальников. И даже преуспел на этом не слишком заметном поприще. У меня заказов на десять лет вперед. Порой меня охватывает тревога, надо ж и свое что-то делать, и маленький человек успокаивает меня: «Ладно! Еще не вечер». Тем более **своего** ничего не пробивается. Никому мой чайник не нужен, и время остановить я не могу, а жить надо.

— Вот это ты про адмирала хорошо написал,— тщательно пережевывая пищу, говорит дядя.— Ну, помнишь, там про доктрину подводного флота? Ты ж мне подарил...

— А,— сразу же входя в роль литературной знаменитости, киваю я.

— У него и про операцию «Цитадель» неплохо. Роль артиллерии он там, конечно, глубоко вскрыл. Я не специалист, но как рядовой читатель скажу: здорово! — льстит мне папа, и я понимаю, что это он прикупает меня, чтоб я вовремя остановился и перестал тревожить прах. Хватит про легендарного Тубенко! Я давно вижу по его глазам, что хватит, что я уже и так испортил ему весь уют, и если б не дядя, приехавший издалека и остановившийся на три дня по дороге в дом отдыха под Выборгом — там у него воспоминания,— мы бы вообще этой темы не коснулись. Один неосторожный шаг — и меня отправят восвояси.

— Ты за рулем? — строго спрашивает папа.

— Нет.

Уже легче. Значит, на метро до «Киевской», а там в пустой электричке до Матвеевской и по ночному асфальту и по заснеженной тропинке на пустыре, по морозцу пешочком до квартиры, которую я снимаю. К ночи холодает, я это по троллейбусным окнам уже определил — взглянул на улицу, все ясно: к морозу троллейбусные окна не проглядываются насквозь.

— Ты мне теплый шарф дашь?

— Дам,— говорит папа.

Пока все спокойно. Сидим дальше.

Маршал, которого папа назвал дундуком, возник случайно. Он просто позвонил среди лета в жаркий звенящий день и пригласил к себе на дачу, и уже там, на даче, под водочку, на солнцепеке мы кушали какую-то птичку с моченой брусникой, потом — пирог со свежей капустой, потом стреляли из трофейного ружья по воронью, и кухарка кричала: «Вон она! Вон она! Пали!» — Раскрасневшийся маршал взял меня за пуговицу и повлек в свой кабинет, где среди книг стоял фарфоровый бюстик Кутузова и еще были фотографии — Ворошилов, Буденный, Жуков и сам маршал в полной парадной форме в профиль. Опустившись в кресло, маршал закурил сигаретку «Новость» и, впервые обратившись ко мне на ты,— свидетельство величайшего доверия и расположения,— произнес все-таки с легким недоверием:

— Говорят, ты пишешь?

— Так точно! — отвечал я, но не слишком разухабисто, а в меру. Маршал усмехнулся. Он оценил и усмехнулся бескровными старческими губами. Легкий ветерок шевелил светлую шелковую портьеру на окне его дачного кабинета и седые кудельки на его покрасневшем на солнце, по-стариковски пятнистом темени.

— Шляпу надо носить,— сказал я.

— Я всю жизнь фуражку,— сказал он и смахнул эту тему.— Ты пишешь (вздох),— и я вот начал...

С этими словами из письменного стола, крякнув, он вытянул рукопись страниц на пятьсот, второй машинописный экземпляр, и придвинул ко мне.

— Читай!

Я прочитал: «Записки солдата», перевернул страницу, прочитал: «Часть первая. Накануне грозных событий». Дальше следовало: «Глава первая. Роковая ночь». Это уже на третьей странице. Круто, подумал я, наверное, он в самом деле сам пишет.

— Читай! — повторил он.

— Товарищ начальник,— взмолился я, почувствовав, что так мы будем сидеть до поздней ночи, я буду читать, он будет курить и наблюдать за выражением моего лица.— Я профессионал, мне надо все это взять домой. Я так не могу, знаете, на ходу, как птица какаду, на ходу и один раз в году,— затараторил я, чтоб не выйти из образа легкого человека, своего парня, чуть хамоватого, но своего.— Я так не могу.

— Денег мне не надо,— не слушая меня, продолжал маршал.— Я и так свое получаю. Спасибо. Мне надо, чтоб вышла книга, как память о друзьях, товарищах. Это мой долг, а гонорар — бери его себе.

Обычно все заказчики начинали именно так. С гонорара. С того, что денег им не надо. (Потом, постепенно, совсем не сразу, к концу работы особенно, все менялось.) Люди вообще легко отдают деньги, когда они нереальны еще. На — бери. Но когда нужно брать, в действие вступают какие-то инфернальные силы. И возникает вопрос, как с тем зубным врачом, который брал за то, чтоб вырвать зуб, по десятке, и один там закапризничал: «За три секунды десять рублей? Эдак вы за целый день... Не много ли?»,— на что тот врач ответил: «Хотите, я вам продлю это удовольствие на три часа?» Заказчики вздыхали, уже поняв, что писание — это трудная работа, время, нервы, бессонница, а я — спаситель. Вообще люди ценят квалификацию, когда начинают приобщаться к делу и понимать, что не все так просто, если копнуть глубоко.

С маршалом я работал за свое удовольствие. Меня это устраивало. Он рассказывал, а я слушал, и начал он с командарма Тубенко.

Первый раз он увидел его летом двадцать первого года. Он был курсантом пулеметной школы, их подняли по тревоге в ночь, выдали боевые патроны и растянули цепочкой вдоль железной дороги от Тацинской до Морозовской. По путям бегали командир школы и комиссар, проверяли живую связь, ясно было, что по дороге проедет литерный поезд. Стояли всю ночь. Никакого движения не было. Потихоньку покуривали в кулак, сидели на пеньке. Под утро показался блиндированный паровоз с двумя пулеметами на тендере. Он несся на всех парах. Курсанты вытягивались, взяв оружие к ноге, и делали равнение на поезд, состоявший из паровоза, в будке которого, за стальной приоткрытой створкой, полыхало сухое желтое пламя, и одного вагона с белыми занавесочками на по-утреннему запотевших окнах. Поезд пронесся на большой скорости, осадил перед входным семафором, слабо гуднул, чтоб не нарушить утреннюю тишину, и мягко сел у платформы на первом пути, где как раз стоял маршал, тогда молодой курсант. Стоял, как и положено, с винтовкой к ноге.

Было тихо, росно, паровоз, лязгнув железом, отъехал в сторону, а вагон остался стоять напротив вокзала, окна в окна, не показывая никаких признаков жизни.

Солнце поднималось над грузовыми пакгаузами. Оцепление на площади никого не пускало к железной дороге, но голоса и гул утренней толпы уже доносились оттуда, когда к вагону подбежал запыхавшийся комендант, старый служака в белой кавалерийской фуражке. Он снял фуражку, вытер потный лоб. В руке он держал казенный пакет с сургучными печатями. Пакет следовало вручить немедленно. Комендант окинул взглядом свой живот, пыльные сапоги, поправил гимнастерку, затем робко согнутым пальцем постучал в дверцу вагона. Ничего не последовало. Он прислушался и постучал еще раз. Потом еще. Наконец дверца открылась сразу вся, настежь, показался проводник в форменной железнодорожной тужурке, с веником в руках, он выметал пыль под ноги коменданта, тряхнул коврик. Комендант сказал, что ему немедленно нужен командарм, и для убедительности, не выпуская из рук, показал пакет. Проводник нехотя скрылся в глубине вагона. Сначала маршал сообщил только это. Сам факт. Мол, встречал командарма. Больше того, стоял у самого вагона. А почему такое доверие? Еще б чуть-чуть и шлепнуть могли за связь. Чей пакет передавали?

Потом выяснилось, что Тубенко вышел в тамбур не по форме — босиком, в халате! — это матрос, сын прачки, ну, дела, халат себе с барского плеча приобрел, но об этом не обязательно писать. Зачем? Потом стали возникать другие подробности, которыми он почему-то не мог поделиться сразу, они как-то у него не ложились без повода, это уже позже, проникшись ко мне доверием, он, понизив голос — а зачем? шутя или по привычке? или ритуал все-таки такой сложился — говорить о врагах народа непременно шепотом? — дорисовал всю картину, потрясшую тогда его молодое воображение. Тубенко властно надорвал пакет — вообще все его движения были властными,— вынул белый лист, сложенный вдвое, развернул, начал читать, а дверь в теплое нутро вагона оставалась слегка приоткрытой, оттуда доносились запахи табака, еды, устроенной поездной жизни, и вдруг певучий женский голос сонно пропел: «Пашка, ну сколько ж тебя можно ждать, суку! Иззяблась вся. Пошли ты их всех...» И сказано было, куда их всех послать, маршал слышал, вот те крест святой, это тем более не надо никуда помещать, но так было. И командарм Тубенко ласково улыбнулся, кинул взгляд в сторону, откуда доносился певучий голос. «Она хохлушкой, наверное, была, знаете, у хохлушек бывают такие голоса»,— настаивал маршал, махнул рукой и скрылся, плотно прикрыв за собой тяжелую дверь, а они оба два, комендант и курсант, остались стоять на платформе. «Эх, в Бузулуке, д'на платформе он стоял в парадной форме...» — песня была такая. Все точно. В окне дрогнула белая казенная занавесочка, сквозь бронированные стенки вагона вроде бы прислышался веселый женский смех. Это была Клава. Знаменитая Клава, которую командарм возил с собой и называл непонятно — мой друг.

— Отчаянной храбрости был человек,— несколько невпопад закончил маршал. А зачем он вспоминал Тубенко, было неясно. Вспомнил и все. Вот, мол, какое бывало в жизни. И я, точно зная, что за этим последует, повторил, глотнув домашнего вина:

— Отчаянной храбрости был человек...

— Кто? — почти вскрикивает папа. Он рассказывал дяде, какие раньше были чебуреки в Кисловодске, и я застаю его врасплох.— Кто? Тубенко? Хам он был, и жулик, и негодяй. Вот на ком кровищи!

Для начала папа рисует, как восставшая матросня под командованием Тубенко, он же матросом был! — а то я не знал — бросала в море господ офицеров, связывали их колючей проволокой по три, по четыре, по пять человек и — за борт, будьте здоровы! И еще с палубы наблюдали, как они там колышутся, опускаясь на дно.

— Вот оно откуда — гидра контрреволюции!

— Картинка.

— Я ж знаю, о чем речь!

— Да...

— А на Якорной площади в Кронштадте,— заводится папа,— кто адмиралов кончал? Врывались в дома, в квартиры, в пузо штыком, и весь разговор. Это что, не он? Он! Кровь порождает кровь, это я тебе со всей точностью скажу. Оно как покатится колесом, как пойдет раскручиваться из одной точки, шутиха такая, и пока момент инерции не погасишь... А шлепнули его **поделом.** Мне вот его ну ни капельки не жалко. Хочешь, поклянусь? Конечно, никакой он не враг народа, но уж такая была тогда терминология, извини подвинься, мы понимали, о чем речь.

Дядя догадывается, что надо кончать этот разговор, он нас куда-то не туда заведет, и пробует вернуться к чебурекам.

— Да... Это была знатнейшая закуска, ребятки. Тёплый, понимаешь, сочный, и сытное дело! Загрузил пяток и на сон на свежем воздухе в тени кипариса...

— Ладно,— довольно грубо обрывает его папа и вспоминает, как он был молодым, как поступил в институт парттысячником,— все известно,— как был секретарем парткома у себя в институте, потом в аспирантуру пошел, потом его секретарем райкома рекомендовали, он науку бросил — попробуй не брось! — и вот Тубенко, герой гражданской войны, был у них членом бюро, с сердцем объясняет папа.— Так принято было тогда, он у нас на партучете состоял, так что я его лучше себя знаю. Очень любил речи толкать. Грамотности никакой, все зубами скрипел, и всегда у него одно было: «Мы, черна кость, мы белой кости показали, почем фунт гребешков!» Это он, когда надо было с юморком, свой фунт гребешков ввертывал.

Папа пытается изобразить, как выступал Тубенко. Весь в ремнях, ордена на нем. Гимнастерка сидит мешком, шашка парадная, голос энергичный. «Эх, потешил я душу в семнадцатом году...» И всем было ясно, как он ее тогда тешил и что можно было от него ожидать. А **взяли** его прямо на заседании бюро. Ну, вот так вот он сидел, пачка «Северной Пальмиры» перед ним на столе. Сидел и карандашиком постукивал по зеленому сукну.

— Лихо,— говорю я, а дядя недоволен моим поведением, чего это я папу провоцирую, он делает кислое выражение лица, мол, кончай про политику. Сам же говорил.

Бюро было назначено на 10.30, Федя Штуков, первый их секретарь, любил точность, и минут за десять члены бюро уже собирались в его большом секретарском кабинете, занимали свои всегдашние места. Секретарша Лидочка, бойкая деваха в шестимесячной, такая вся оторва, **оторвочка** в фетровых ботах, разложила на столе карандаши, бумагу, вытряхнула пепельницу и вышла деловой походочкой, чувствуя, что на нее смотрят. Федя уже сидел за своим столом, члены бюро входили и здоровались с ним за руку. Пришел директор мехзавода Шварц, за ним — редактор районной газеты Видиняпин, принес свежие номера, начал всем раздавать, но Федя сказал: «Давай потом это дело»,— пришел Тубенко, высокий, грузный, перетянутый ремнями, пожал Федину руку, сказал: «У тебя боржомчика в сейфе нет?» Крикнули Лидочке, и она, мелькнув своими ботами, тут же принесла, но не «боржоми», а «нарзан». Тубенко выпил стакан, объяснил, что изжога у него с вечера, и ходил по кабинету с бутылкой в руке. Собрались все члены бюро и ровно в 10.30 сели за стол для заседаний. Первым вопросом обсуждали коренные хозяйственные проблемы в свете последних решений. Такая была установка. Обсудили, перерыва решили не делать. Потом, допустим, шел вопрос о подготовке к зиме — вот она опять на носу, а трубы полопались, кругом копают, надо бы посмотреть, не вредительство ли, такая была реплика. Но прошла мимо. Выступил зампредисполкома, и пока он тянул свою волынку, Федя на листке из перекидного календаря, нисколько не меняясь в лице, написал папе записку: «Сейчас будут брать Тубенко». К зампредрайисполкома вопросов не было. Член бюро, знатный рабочий Полбин, сидевший всегда с краю, на этот раз попробовал побазарить. «Это что это такое, форменная безобразия,— начал он, изображая на лице капризное выражение,— для того мы, выходит, брали власть в свои руки, чтоб пролетарий мерз в холодрыгу у себя в комнате...» — но Федя только глянул на него, и он затих. Вроде на месте поерзал, и все.

— Товарищи,— твердо сказал Штуков,— слово для сообщения — информации для всех нас важной — имеет начальник нашего районного отдела НКВД, наш чекист, у него назрело. Прошу.

Поднялся начальник районного отдела НКВД Давыдов и твердым, хорошо отработанным голосом произнес, что, по проверенным данным, присутствующий здесь гражданин Тубенко — враг народа. Дальнейшее следствие обличит его полностью и во всем объеме. Хватит рядиться в тоги! Тубенко не сразу понял, что это о нем. Некоторое время он еще сидел, откинувшись на спинку стула, усмешка кривила его лицо, затем он вскочил и захрипел, сразу лишившись голоса, а в кабинет четким шагом входили уже двое в форме. Командарму заломили руки, с него сняли ремень с шашкой и тяжелым пистолетом в лакированной кобуре, ножны взбрыкнули в воздухе, сверкнув позолотой. Командарм стоял на ковровой дорожке, пролегшей от двери до стола, за которым сидел Штуков. С него сорвали петлицы, и белые, короткие нитки повисли на коверкотовом вороте, сняли ордена, для этого надо было расстегнуть гимнастерку, ее расстегнули, и так он стоял в расстегнутой гимнастерке без ремня, пытался что-то сказать и не успевал. Ему вывернули карманы. В какое-то мгновение его взгляд скользнул по членам бюро. Скорей всего он не искал ни сочувствия, ни участия, он сам был беспощаден к врагам, он хотел сказать: я не враг! Я свой! Но все лица были серьезны и отчужденно сосредоточенны. «Вот оно как бывает»,— сказал Полбин, когда командарма вывели и перешли к следующему вопросу. Стул Тубенко так и стоял пустой, выбившись из общего ряда, и пачка «Северной Пальмиры» лежала на столе, как будто ничего не произошло. Потом Давыдов ее взял, положил в свой портфель с таким выражением, точно в этой пачке и была главная улика. Нас не проведешь. И все посмотрели на него с уважением, как смотрят посторонние на человека при деле.

— Это уже Берия был?

— Нет, Ежов. Николай Третий, Колька кровавый. Хотите, я вам стишок прочитаю? Нет, нет, нет... Послушайте.— И папа начал:

Враги нашей жизни, враги миллионов,—
Ползут к нам троцкистские банды шпионов,
Бухаринцы, хитрые змеи болот,
Националистов озлобленный сброд.
Они ликовали, неся нам оковы,
Но звери попали в капканы Ежова.
Великого Сталина преданный друг,
Ежов разорвал их предательский круг.

— Ну, память! Давай вместе разучим. Очень за душу берет. Бередит.

— Кто?

— Народный поэт Советского Союза Джамбул. У меня на столе под стеклом лежало, вот и запомнил. Потом сам сжег в пепельнице, а пепел развеял в форточку.

— Вот.

— Ничего не «вот».

Папа очень собой доволен. Теперь он явно в ударе, а мы с дядей любуемся им, и он продолжает свою биографию, чтоб мы кое-что поняли в этой жизни, как оно бывает.

Из райкома взяли его на работу в органы. Просто позвонили и сказали, чтоб зашел. «И я смело пошел, потому что за мной **ничего** не было! я знал — **ничего!»** — кричит папа и глядит на меня в упор, и я не выдерживаю его взгляда, опускаю глаза. Он получил пропуск, да, да, поднялся на какой-то там этаж, все тихо, чисто, вошел в приемную перед большим кабинетом. Очень вежливый товарищ в форме попросил

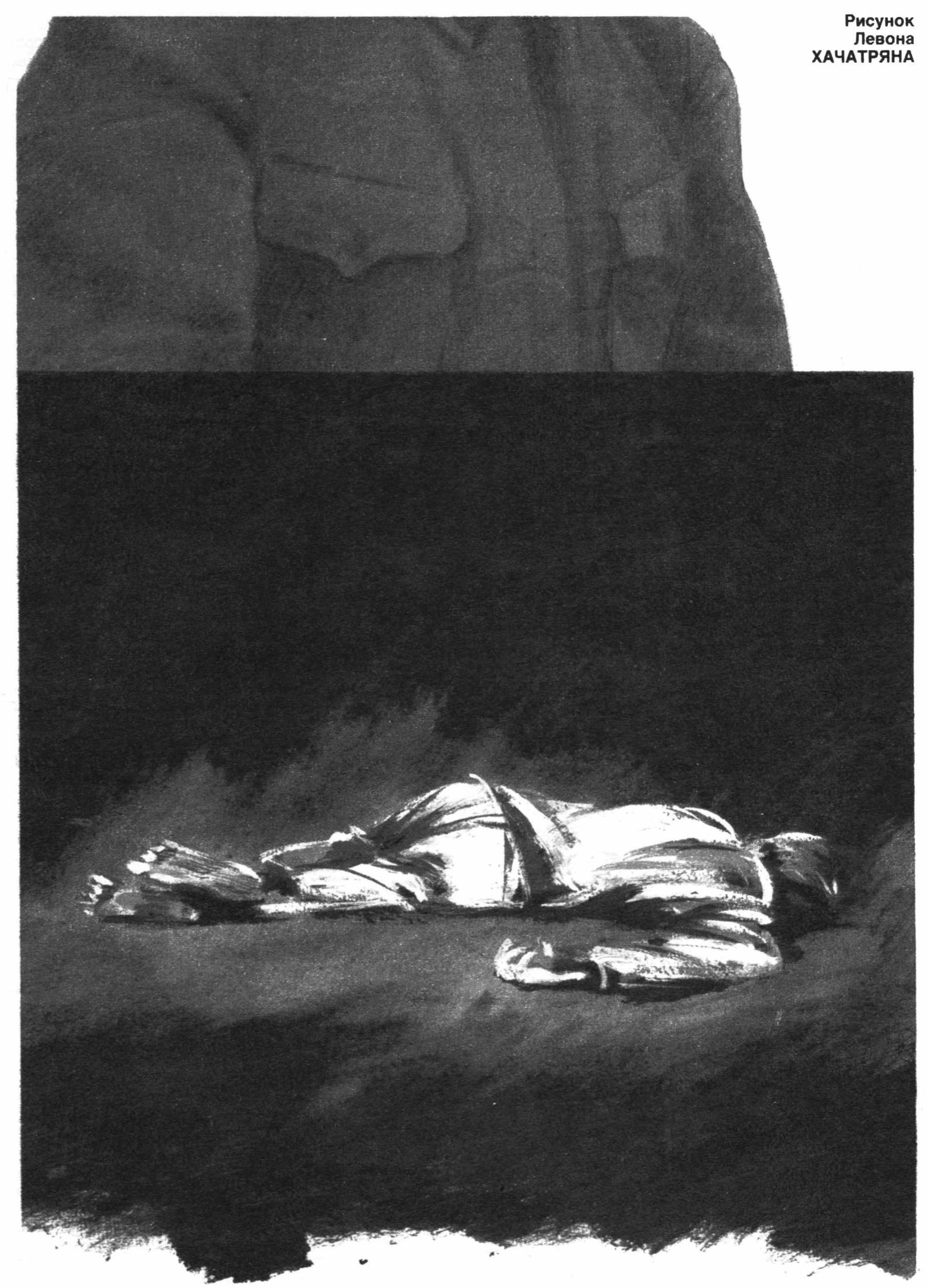


Рисунок
Левона
ХАЧАТРЯНА

его немножечко подождать. Папа сел и напротив в углу заметил насмерть перепуганного лысого человека, капельки пота струились по его лицу. Папа отвернулся.

Вскоре его попросили войти, и он вошел. В глубине кабинета, за столом сидели Маленков, Ворошилов и еще кто-то. От волнения он не рассмотрел или забыл, это не имеет значения. Папе сказали, что его рекомендуют на работу в органы. Это большое доверие, и партия надеется на него.

— И что я должен был сказать? Что? Что они и примкнувший к ним Шепилов, о чем я еще, извините, не знал, антипартийная группа, достойная презрения и отчуждения? Это ты им скажи! А я сказал — «Служу Советскому Союзу!» Так я сказал, потому что я дурак. И ты, сын дурака, ты бы тоже так сказал, «Служу Советскому Союзу», потому что это моя родина, она прикажет, и, значит, так надо! Умри — умру!

— Ты не надо так, к сердцу,— говорит дядя и берет меня под защиту.— Сынок у нас хороший парень. Он отлично понимает жизнь... Он наш парень. Прошу! Как сказал товарищ Ворошилов, Красной Армии нужны доблестные бойцы и грамотные командиры.

— Давай,— говорит папа, потому что дядя собирается вспомнить, что там еще говорил Ворошилов.

Мы даем и закусываем капусткой. Нам хорошо. Папа, сложив губы трубочкой, выпускает из себя горячий воздух, он раскраснелся и доволен, что умыл меня. А лысый человек в приемной, между прочим, оказался портным! Он повел папу куда-то вниз. Там, в маленькой комнатке с зарешеченным окном, стояла зингеровская машинка, прикрытая газетой. С папы сняли мерку. На следующий день все было готово. Папа переоделся, выбрал себе сапоги, портной завернул в пакет всю его гражданскую одежду, не выбрасывать же райкомовский костюм — брючки, пиджачок, галстучек и скороходовские полуботинки — отличные были полуботинки под фельдикосовый носок. Портной все это аккуратно завернул. По его смуглой лысине все так же струился пот.

— И дали мне капитана госбезопасности,— продолжает папа,— то есть полковника. На рукаве — обнаженный меч пролетариата, который и карает и защищает, а в петлице — три шпалы.

— Так точно, четвертую шпалу полковнику повесили в сороковом,— говорит дядя.

— В сорок первом,— поправляет папа.

— В сороковом,— не сдается дядя.

— Склеротик.

— Хорошо сидим...

Мне трудно что-либо добавить по существу к их этому беззлобному препирательству, но я понимаю, все успокоилось и легендарный командарм исчез вроде бы насовсем, его увели, и что нам до него, это ведь его — руки за спину и — пошел! а не меня (не нас) впихивают сейчас в черную «эмку», которую припарковали к самому подъезду, и шофер сидит с непроницаемой рожей. Это его, а не меня везут сейчас по знакомому городу, наполненному звоном трамваев, шумом голосов, шарканьем шагов и патефонной довоенной музыкой, доносящейся из открытых форточек. Квадратный рупор на столбе выкрикивает бодрые слова, поднимающие энтузиазм и гордость. Это его, а не меня вталкивают в общую камеру, где он скромненько устраивается у параши на мокром и там проводит всю ночь калачиком. Он плачет, но что мне до него в самом деле? Я, что ли, рвался в начальники, как он? В конце концов он заслужил, это если о возмездии, матери тех офицеров тоже плакали. Насчет крови папа прав. Но почему мне его все-таки жалко, такого лихого и разухабистого, вдруг оказавшегося в беде? Хватит об этом. «Ты давай огурчик, огурчик. Очень оттягивает»,— советует дядя. Я знаю, Тубенко расстреляют, он примет смерть от пули, как солдат. К этому можно себя подготовить. Это другой командарм — это дядя рассказывал с мрачным злорадством, одно к одному! — попал в лагерный барак, где верховодил пахан, сифилитик и педераст, резкий человек с вкрадчивым, рассудительным голосом деревенского счетовода. И он променял бы все на расстрел. Для начала его изнасиловали всей братвой. Потом выбили зубы — тому, другому командарму,— и сделали из него Манечку, предмет изощренной любви в длинные полярные ночи, когда по крыше метет колючий воркутинский снежок и северное сияние голубое и белое мерцает в промороженном окне нечетко, как обратная сторона световой рекламы над крышей ресторана «София» — «Покупайте птицу и кулинарию из птичьего мяса!» — и там дальше, над площадью — «Коммунизм — это молодость мира...»

Зачем мне все это, тем более что я отлично знаю, что будет дальше, если я не перестану что-то там выяснять. Сказано будет с глубокомыслием, что страна стояла накануне мировой войны.— «Сталин это отлично понимал! Очень понимал...» — и, конечно, папа вспомнит, что когда рубят лес, то щепки летят. При всей грубости этой аналогии, скажет он, она, увы, верна. Се ля ви, разведя руками, скажет дядя. Да, да, мой друг, политику, скажет папа, в белых перчатках не делают! Это последнее, что он скажет более или менее спокойно. Все сто раз проверено! Потом он сорвется на крик: «Ты думаешь, в Америке так вот трын-трава, все тебе бери, и будьте здоровы? Там — доллáр, а у нас — порядок!» Он говорит доллáр, хотя отлично знает, что правильно — дóллар, но ему кажется, что человек его ранга должен говорить так — доллáр — и никак не иначе. Так почему-то принято в их кругу. У них там своя феня, свой птичий язык, которого мне не понять. Еще он говорит магáзин, что очень злит мою маму. «Надо говорить магазúн,— не выдерживает она.— Магазúн». «Это у винтовки магазин, а колбаса в магáзине»,— мрачно отрезает папа, и спорить с ним бесполезно, и я не понимаю, валяет он дурака или ему открыта истина, до которой я не могу добраться своим умом. Он знает, Сталин имел недостатки — кто их не имеет? — но, в общем, линию тянул в тех условиях исторических верную, а то, что в лагеря сажал кой-кого, так ведь не всегда зря. «И за анекдот десять лет тоже не зря!» — ору я. «Не зря!» — орет папа.— Не трепись! Не трепись!» Вот чем это кончается, и зачем заводиться, тем более, сейчас моя очередь: папа молчит, дядя выжидательно смотрит на меня, и я начинаю свое выступление на вольную тему. Я делаю книгу «Записки солдата», там маршал такого подбрасывает, что куда там!

— Ну, ну,— говорит папа, ободряя меня к дальнейшему рассказу. Дядя перестает жевать, ладонью вытирает губы и подбородок. Он готов слушать, и я для начала рассказываю, как в сорок первом году в октябре, когда немцы вплотную приблизились к Москве, маршал должен идти на доклад к товарищу Сталину, чтоб выяснить только один вопрос — где разворачивать резервный узел связи Ставки, если Москву придется сдать. Это из второй главы. Все уже написано. «Я Верховному ваш вопрос называть не стану»,— говорит Поскребышев. Про оставление Москвы запрещено и заикаться. Ну, сегодня меня шлепнут, рассуждает маршал, это если доложу, а не доложу, так через неделю все равно шлепнут. Надо ж докладывать! И он твердым шагом входит в кабинет, где идет высокое заседание, и Сталин, прервавшись, поднимает на него усталые глаза. «Согласно Уставу Красной Армии»,— начинает маршал,— должен спросить ваших указаний, где будем разворачивать резервный узел связи Ставки на случай, так сказать, оставления врагу столицы нашей Родины города Москва». Так он докладывает слово в слово, вытянув руки по швам, ни жив ни мертв. Сталин смотрит на него в упор, потом вдруг резко поворачивается и выходит из кабинета. Он выходит, а маршал остается стоять, и никто из присутствующих на него не смотрит, его уже вычеркнули. Его нет. Но вот Сталин возвращается с картой, расстилает ее на зеленом сукне большого стола, кладет на нее по углам четыре тяжелые пластинки, специально для этого предназначенные, иначе карта заворачивается, и спрашивает:

«Где вы предлагаете?»

«В Куйбышеве, там мощный узел связи».

«Нет, в Куйбышеве нельзя, там будет дипломатический корпус».

«Можно в Горьком...»

«Давайте в Арзамасе,— вдруг говорит товарищ Сталин. И добавляет:— Там была ставка Ивана Грозного. Позывной «Виктория», что значит — победа».— С этими словами он уходит, захватив с собой принесенную карту.

— Верил в победу,— говорит папа.— Да... Но вот в таком виде в книге этого не будет. Тут, знаешь, серьезней надо.

— А чего?

— Чего, чего... Нельзя так.

А я уже завелся. Я рассказываю, как в сорок втором, после катастрофы в Крыму, Сталин послал Мехлису телеграмму открытым текстом: «Будьте вы трижды прокляты!» — немцы ее перехватили,— и Мехлис, бросив фронт, прилетает в Москву и, открыв тяжелую дверь того кабинета на Кировской — это небольшой особнячок рядом с метро,— становится на колени и говорит: «Трижды проклятый вами Мехлис по вашему приказанию прибыл!» Это из четвертой главы.

— Шут гороховый! И этого не напечатают! Все тебя куда-то в сторону тянет! — возмущается папа и протягивает свой стакан, чтоб дядя плеснул ему «Золотой рыбки».

— Да,— говорит дядя,— любопытная была персона нон грата. Сука первостатейная, но личной храбростью обладал несомненно. Мы артподготовку проводили еще в финскую кампанию. Морозы. Жуть. Ну, отстрелялись, пехота пошла в атаку. Уря, уря... За Родину, за Сталина! — Тогда еще так не кричали. Я к себе в блиндаж спустился, чтоб спирту хряпнуть, иначе окоченеешь, только полушубок расстегнул — мне шефы полушубок романовский подарили, красной дубки, ну, доха прямо,— бежит адъютант. «Товарищ комбриг, армейский комиссар товарищ Мехлис в первой цепи идет с пехотой!» Я — к трубе, глядь, а он и в самом деле, мать моя, прет. С винтовкой точно. Папаха с него свалилась, волосы ветер рвет. Пулеметно-винтовочная стрельба. А генеральская шинелька заметная, красным кантом обитая. Вот оно, какой поворот событий. Смелый мужик. Это при всем остальном, чего я не снимаю.

— Кто смелый? — шипит папа, и лицо его наливается кровью.— Иди ты... Смелый. Вот ваше представление о смелости, куриные мозги! Нас с Гришкой Афанасьевым вызвали в ту же пору, велели нам нашими средствами рокаду пробивать на перешеек. Ни снарядов войскам, ничего не подвезти. Мы два полка взяли войск НКВД и заключенных. Мы их каналармейцами называли, к слову, и туда. Кругом снег, ни палаток, ни жилья. Так, на снегу, и спали, у костров грелись. И жратвы никакой, ни корки. Застряла где-то. Тогда Гришке докладывают, что на ближайшей станции стоит армейский эшелон с мукой. Он поехал, охрану снял, муку на сани перегрузил, доставил. Мы лепешки на совковых лопатах пекли и ели. Спирт и лепешки. Весь рацион.

— Жизня́! — говорит дядя сокрушенно.— Очень фигурку подбирает.

— Да,— соглашается папа,— строим дорогу, и вызывают нас к Мехлису. Палатка у него здоровая, тепло, хорошим табаком, одеколоном пахнет, кругом штабные шастают, все с ножа кормленные, все такие быстрые, верткие. Ну, мы входим, Гриша представляется: «Капитан госбезопасности Афанасьев!» Я — то же самое. А он кудлатую голову над картой поднял, окинул нас мутным взглядом и говорит: «Расстрелять!» У меня в глазах все поплыло. Ну, думаю, конец! А Гришка — к нему: ах ты, говорит, сука патлатая, дай хозяину позвоню! Колено на стол и — за кремлевку. Поднял трубку. Воевать ни хрена не умеете, кричит, мы вас двадцать лет, дармоедов, кормили; Поскребка, это ты? Привет из Сопляков. (Поскребышев был родом из деревни Сопляки, это не многие знали. Сталин иногда на даче тост поднимал за деревню Сопляки.) Ну, вот Гриша и говорит, привет из Сопляков, потому что знает. Просит, соедини с хозяином. Мехлис сразу: «Тихо, тихо, тихо. Что вы нервничаете?» Видал? Нервничаете. И штабные сразу разбежались, чтоб при такой сцене не присутствовать. Правильно, конечно. Подходит Сталин. Гриша: «Товарищ Сталин, верные вам чекисты поставленную вами задачу выполнили! Рокадная дорога легла указанным вами маршрутом!» Сталин слово **«маршрут»** любил, Гриша и это знал! Ну, тут у них с хозяином такой разговор, что надо-де передать благодарность личному составу, особо отличившихся наградить. Мехлис стоит весь бледный, ручонки теребит, нижняя губа отвисла кошельком. Сталин о чем-то Гришу спрашивает, тот отвечает, а потом говорит: «Да вот тут мы с товарищем Мехлисом слегка — понял?— **слегка** сцепились. Воевать не умеют...» Разговор на этом кончается. Мехлис: «Товарищ Афанасьев, зачем так сразу? Товарищ Афанасьев...» И пообедать нас оставляет. Только мы плюнули и уехали, а жрать хотелось. Ну его в жопу! Так вот, я тебя спрашиваю, разложи мне на элементы, когда он храбрым был, когда в атаку шел или когда Гришка хозяину про него докладывал? А? Ты мордой не верти, ты думай! Храбрость и храбрость — разные вещи. Да... А почему? А **потому!**

После этого весь интерес ко мне пропадает, дядя поворачивает в другую сторону, он про сельское хозяйство рассказывает, папа его не перебивает, потом дядя все-таки успевает рассказать до конца про того генерала, который оговорился на торжественном собрании в честь Первого мая. Генерал все верно сказал, а когда заканчивал здравицей, ну, как принято было,— да здравствует великий советский народ! да здравствует вождь и организатор всех наших побед великий полководец товарищ Сталин! — взял и ввернул: разобьем фашистского зверя в его же собственном влагалище! Он хотел сказать — **в логове.** Такой конфуз! Но весна, победа, сорок пятый год. Простили.

На этом мы расстаемся. В прихожей, понизив голос, чтоб не разбудить маму, папа говорит:

— Пустое дело делаешь. Он не дурак. Ему это не нужно.— Это он про моего маршала.— Не было у бабы хлопот... Думай, сынок...

— Не слушай ты его,— шепчет дядя и целует меня в губы.— Все будет хорошо. Я в тебя верю. Книжку подари.

По асфальту метет поземка. В воротах, как в трубе. На площади пусто, редкие прохожие жмутся к домам. Надо успеть в метро. Я прибавляю шаг. Стекло в кулинарии напротив мерцает то зеленоватым, то красным светом, и я не сразу догадываюсь, что это отражается светофор. Ветер тяжело раскачивает троллейбусные провода.

Прямо-таки Фрейд какой-то, думаю я, где-то у него написано, что всякое пресечение инстинкта ведет к психозам. Точно. И совсем так же, это тоже закон общественной жизни, это я сам сформулировал, взяв свои триста пятьдесят и сколько-то там из резиновой подушки, меня тянет на мудрые обобщения — всякая группа, находящаяся вне контроля общества, развивается по закону банды. Во главе пахан, а как его

зовут — Иосиф Виссарионович, или Мишка Япончик, или как там того, с Воркуты, то уже другой разговор. Там у них своя рвань и пьянь, свои валеты и шестерки, пахан их всех перетасовал и дерьмом замазал, чтоб не отмыться, и в морду плюнул, чтоб никому веры не было, чтоб не сговорились за спиной, не стали плечо к плечу. У одного жену посадил, у другого брата шлепнул, и стерпели, и ни гугу, и глаза ясные, а бандит тоже кумекает, ежели он свою маруху продал, так что, меня не продаст? Шалишь... Сталин был блатным. Блатной он был, блатной... Это я спускаюсь в метро по мокрой пустой каменной лестнице, снизу доносится надсадный вой моечной машины, и по мокрому полу змеится черный кабель. Нет, думаю я, нам уже не понять того времени, там у них все иначе было — свои ритмы, свои слова, свои незнакомые нам запахи и установки — быть первым, главным, быть только наверху, чтоб считать свою жизнь сложившейся. Сталин был главным. И маршал, но уже на своем уровне. И командарм Тубенко. И мой папа. Все в своих коридорах. Закон жизни учил их быть начальником. Зачем? Никто б из них никогда не ответил — зачем? — потому что — «за паек» — ответить нельзя. Это время. Я думаю о времени. О времени вообще. О времени разбрасывать камни и времени собирать. Разве это поймешь? Это помимо нас, как аллергия на пыльцу деревьев. Просто характерно для века, для эпохи, для срока, который нам отпущен и в который живет имярек, и хочет он того или очень не хочет, согласен или не согласен, он во времени, в его необъяснимых пристрастиях и болезнях.

Доезжаю до «Киевской». Там, на перроне, та же картина: ветер и снег, как в степи. «Когда последняя электричка?» — спрашивает меня одинокий ожидающий в светлом «бидермановском» плаще на латунных застежках. Он отлично знает, когда, но ему хочется пообщаться. Мы ходим по перрону навстречу друг другу, и, когда в очередной раз оказываемся рядом, он сообщает доверительно: «Нижнего белья не поддел. Морозит, епио мать!» Но вот подкатывает электричка, в вагоне стрекочет компрессор, под потолком разгораются желтые огни, зуб на зуб не попадает, но уже теплей.

Наконец во втором часу я добираюсь к себе на квартиру, на чужой тринадцатый этаж, долго не могу попасть ключом в замок: пальцы замерзли. Скидываю пальто на пол и засыпаю, накрывшись одеялом с головой. Хватит пить, приказываю я себе, с завтрашнего дня ни капли! И засыпаю, как отключаюсь. А просыпаюсь ярким солнечным утром. Вовсю сияет солнце, в квартире тепло и тихо. Босиком шлепаю на кухню, наливаю полный чайник, ставлю его на плиту и отправляюсь в санузел, где провожу достаточно много времени, потому что, когда я возвращаюсь, чайник уже кипит и плюется кипятком. Крышка на нем подпрыгивает. Он просто озверел. На меня не взглянет. Презирает. Он похож на папу, решаю я и, приподняв чайник, некоторое время смотрю на него изучающе.

Затем, позавтракав, принимаюсь за дела. Сегодня среда, по средам и пятницам мы встречаемся с маршалом. Но сегодня встречаться не нужно, потому что работа закончена, рукопись сдана в издательство, ее послали на визу, пришло разрешение печатать без каких-либо замечаний. Несколько карандашных галочек поставили на полях. И все. Теперь их надо стереть и отправлять в набор. Уже нам выписали одобрение, деньги пополам, и как только выйдет книжка, надо будет подарить ее папе, пусть читает про своего Сталина, и про Мехлиса, и про командарма Тубенко, о котором он слышать не может. А чья фамилия на обложке, не все ли равно? Быть знаменитым? Зачем? Это даже и несимпатично, и мне вспоминается, как мы в своей компании справляли Новый год и Степа Самарин — был у нас такой поддавальщик, душа человек и большой сексуал-демократ, вместо очередной девицы, а девицы у него, надо сказать, были как к одной — он говорил: «Огурцы!» — привел чемпиона мира по фигурному катанию на льду. Чего он его привел, полная неясность, но привел и ладно, чемпион и чемпион, нам это без разницы, был бы человек хороший, сидел бы он тихо, спокойно, мы, глядишь, и зауважали бы его, и спросили, может, потом, к слову, как это — кататься на льду — очень тяжело? Но ему тотчас же потребовалось быть центром внимания. «Хлопцы,— сказал он, беря все на себя,— хлопцы и джентльмены,— так вот он к нам несколько неожиданно обратился,— разольем, как в Штатах!» И начал рассказывать, как разливают в Штатах, откуда он только что вернулся. Ну, вот такой наивный честолюбец, которому сразу подавай все коврижки и все компоты. Ждать он не мог. Кончилось тем, что его вообще никто не слушал, он напился в сосиску и сидел бледный, закусив нижнюю дрожащую губу, и снисходительно презирал всех нас. Он нам мир хотел открыть, а мы не захотели. И тут я на некоторое время задумываюсь, почему быть знаменитым некрасиво, и это меня далеко уводит, я думаю о славе, о власти, которая мне не нужна, и все это создает хороший фон. Все суетное, сиюминутное спадает, я сажусь за стол, за собственные свои дела. Солнце уже припекает по-весеннему, на балконе тает снег, из-под которого выступают желтые кафелины и давным-давно куда-то пропавшие предметы — детский поломанный стульчик с раскрашенной спинкой, старый, пыльный аккумулятор, проволочный ящик, набитый пустыми бутылками... Я сижу и работаю, затем делаю передых, это, говорят, обязательно надо делать тем, у кого сидячая работа, иначе разнесет. И еще надо держать дома весы. У меня весов нет, все никак не соберусь, я по брюкам определяю: если они с трудом застегиваются, значит, пора срочно худеть. Нельзя пропустить самый первый момент, иначе беда. Я делаю пробежку по комнате и два упражнения на полу для брюшного пресса. Затем шаг на месте. Иногда соседи снизу стучат по трубе, и густой набатный гул плывет с первого по шестнадцатый этаж. В этот раз все тихо. И вот, когда я шагаю на месте, высоко вскидывая колени, непонятная тревога вдруг охватывает меня. Мне как-то не по себе становится, и я звоню маршалу. Тот сразу поднимает трубку, значит, сидит за столом.

— Да...— говорит он, и так у него это кругло получается, так раскатисто,— да...— что всякое подражание исключено, такое «да» приобретается годами и полным пониманием своего места в этой жизни.

— Привет, привет, хорошая погода,— говорю я, чтоб как-то скрыть волнение.— Почему мы не везем рукопись?

— Да вот, читаю все. То есть перечитываю.

— И как, нравится?

— Ну, вообще-то ничего. Большая, конечно, работа проделана.

— Так можно до бесконечности. Везите, там уже ждут, небось заждались. Ада Давыдовна не звонила?

— Я только до середины дошел. Если сегодня закончу, привезу.

Закончу? Чего он там заканчивать собирается?

— Я сейчас к вам приеду,— говорю я в сердцах и начинаю одеваться, вдруг обнаруживая, что пояс и в самом деле застегивается с трудом. Одно к одному! А солнце бьет в окно так, что больно смотреть, университетский шпиль сияет, точно его отлили из чистого золота, и белый снег на крышах совсем белый.

Через сорок минут я въезжаю в дачный поселок, где живет маршал. Дача у него собственная. Он купил ее с баланса, он мне долго объяснял однажды, как он ее купил, когда был в должности и какие препоны ему строились, но он их обошел, получастка он недавно продал одному действующему генералу, чтоб не мозолить глаза. «Да ну! Мне столько земли не надо,— говорил он,— мне пора про свои два метра десять сантиметров, три аршина думать да про зеленое одеяльце дерновое, да про дачку в шесть досок...» Так он говорил, но при этом гордился своей хозяйской сметкой.

С чистого шоссе я сворачиваю в заснеженный переулок, останавливаюсь у знакомых, глухих, зеленых ворот. По узкой тропинке вдоль забора в деревенских, необмятых валенках, в кожаном старом реглане на меху идет знаменитый авиаконструктор, он совершает утренний моцион или двинул в поселковый магазин, посмотреть, что творится в большом мире. Он похож на актера, он поднимает взгляд и ждет, что его узнают.

Маршал сидит у себя в кабинете и играет в писателя. На чистом столе перед ним разложенная на две половины рукопись, чашка черного кофе, которого он терпеть не может, но роль обязывает, и в пепельнице дымит сгоревшая наполовину, давно забытая сигарета. Он в процессе. Рядом, на маленьком столике клей и ножницы. Что он там клеит? Я ничего не могу понять, то есть теперь бы я, конечно, понял в чем дело, а тогда я еще не подошел к необходимому для того пониманию, я застываю в полном недоумении. Маршал вырезает какие-то полоски, примеряет их по странице, они похожи на ломаные прямоугольники, у него под рукой карандашик и чистая резиночка, он берет очередной прямоугольник, густо мажет клеем и с усилием двумя пальцами приделывает на место, где на полях парит карандашная, едва заметная птичка. Заклеивает, и все! Он не догадывается в простоте, что так делать нельзя, нужны по крайней мере какие-то переходы, иначе читатель ничего не поймет, он спотыкаться будет, ведь куски живые выпадают, да и зачем он это делает, его ж никто не просил, и намека такого не было, чтоб он чего-то убрал!

Сейчас я бы смолчал. А, пусть себе. Мое-то какое дело. Но сынок, воспитанный в понимании того, что слово может убить, слово может спасти, а главное — «Слово может полки за собой повести!» — и это на полном серьезе! (Это ж надо как мозги засрали!) — начинает доказывать. Зачем так делать? С какой стати портить книгу, кричит он, и ножкой, ножкой шаркает по полу. Он тянет рукопись на себя, листает заклеенные страницы и обнаруживает, что командарма Тубенко уже нет. То утро, когда к платформе станции Тацинской подкатил его штабной вагон, исчезло. Значит, его и не было. И проводник не подметал тамбур, и красавица Клава не звала командарма своим певучим голосом. А там дальше заклеен разговор маршала с Ворошиловым, как они беседовали накануне войны о важности физкультуры для общевойсковых командиров. Проходной разговор, но его-то чего заклеивать? Дальше нет слов Тимошенко об уроках финской кампании, и любимое наставление Сталина исчезло, которое он повторял всякий раз, отправляя маршала в инспекционные поездки. «Разберитесь, вам мешают»,— говорил Сталин, и маршал, чего уж темнить, отлично понимал, что это значит. Обычно в таких поездках его сопровождал какой-нибудь чин из прокуратуры. Уже никто не прочтет ни про это, ни про то, как маршал спрашивает Сталина, где разворачивать резервный узел связи Ставки на случай оставления Москвы, и про Мехлиса, грохнувшегося на колени на пороге сталинского кабинета, а там дальше убрано, как на даче — это уже после войны,— на отдыхе Сталин подложил на стул одного маршала большой спелый помидор, и тот заметил, но плюхнулся в светлых брюках, и все хохотали до колик, и Сталин скупым жестом утирал слезу. Ну такой весельчак! А потом все купались. В купальне на берегу поснимали с себя одежды и остались все как один в военно-спортивных трусах немарких тонов по колено, кто в черных, кто в темно-синих и только на Берии были коричневые трусы. Это тоже маршал заклеил.

— Зачем вы так! — закричал сынок, я и сейчас, со стороны, слышу его молодой, с писклявыми нотами голос. Ему своей работы стало жалко и человечества, которое ничего не узнает! — Это ведь ваша жизнь! — кричал он.— Вы свою жизнь заклеили! — Он надеялся все-таки, что человек, хоть однажды почувствовавши силу остановленного времени, будет драться до конца.— Подумаешь, галочки вам расставили! Да плевали вы на них! Это ведь не указание непременно убрать, это, может, как раз явно выраженный интерес, обратите внимание, галочки эти безошибочно стоят на самых интересных местах. Эти страницы больше всего и понравились, так и только так надо это расценивать! Нет, это все надо перепечатать со второго экземпляра. Все восстановить как было.

— Вам легко, восстановить, у вас авторучка, и все, а я маршал, на мне ответственность. Нас народ по-разному читает.— Видал как, нас, он что, поверил, что ли, будто все это сам написал? — Я так не могу, как вы,— капризно продолжал он и посмотрел на меня с довольно-таки дерзкой улыбочкой, с какой он на меня раньше не смотрел.— Это все правильные замечания, так их надо расценивать. А вы меня крепко подставили! Я немножко тут на поводу пошел. Доверился...

И он начал выяснять, зачем широкому тчателю нужны все эти подробности про командарма Тубенко, героя гражданской войны, к которому допустили в свое время несправедливость, ну, ездил в отдельном вагоне, это не так могут понять. А если уж описывать, как он выходит в тамбур босиком и в халате, нужно все это сопоставить с другими фактами его героической биографии, а вы этого не смогли. (Теперь — вы!) Ну и Клава. Сдалась вам эта девка! Может, и не было ее. Столько лет прошло. А потом Сталин. Фигура сложная, можно сказать, глобальная, а у вас шуточки всякие, ну, подложил он помидор, ну, кому из серьезных людей это интересно? Он и торт с розами мог подложить! Он веселую шутку ценил, к тому это вам все и рассказывалось, чтоб вы обстановку почувствовали, ну, а про трусы у высшего руководства страны — это совсем какие-то хиханьки да хаханьки, за которые нас (теперь — нас) по головке не погладят.

Так он говорил строгим, сухим голосом, при этом важно покашливал и раза два приложился к своему остывшему кофе, а я стоял спиной и не видел его лица. Передо мной было окно, в окне — занесенные снегом деревья и солнце. Два цвета — белый и голубой. Как будто взяли и выставили гжельскую посуду. Там еще, кроме цвета, по линии все совпадало из-за сугробов. Над окном свешивались сосульки, сосульки таяли, капли падали вниз, в мелкую длинную лужицу, из которой пили воробьи, закидывали голову, крутились на месте. За лесом промелькнула, отстреливая окнами, во весь дух пронеслась электричка на Москву, змеились рельсы, над полотном железной дороги растекалась сухая теплынь, а там, дальше, дрожало марево, из которого, казалось, сейчас вынырнет литерный поезд и дернется в старомодном окне, дернется, тронутая чьей-то рукой, белая казенная занавесочка. Я стоял и смотрел в окно, а он, наверное, говорил о том, что я еще молод, я не понимаю большой политики — опять политики! — я ничего не понимаю, потому что с меня никогда не срывали погоны, я не спарывал лампасы, у меня не отбирали машины, квартиры, поликлиники, дачи, я не уходил от женщины, которую любил, и поэтому ничего не понимаю. И никогда не пойму.

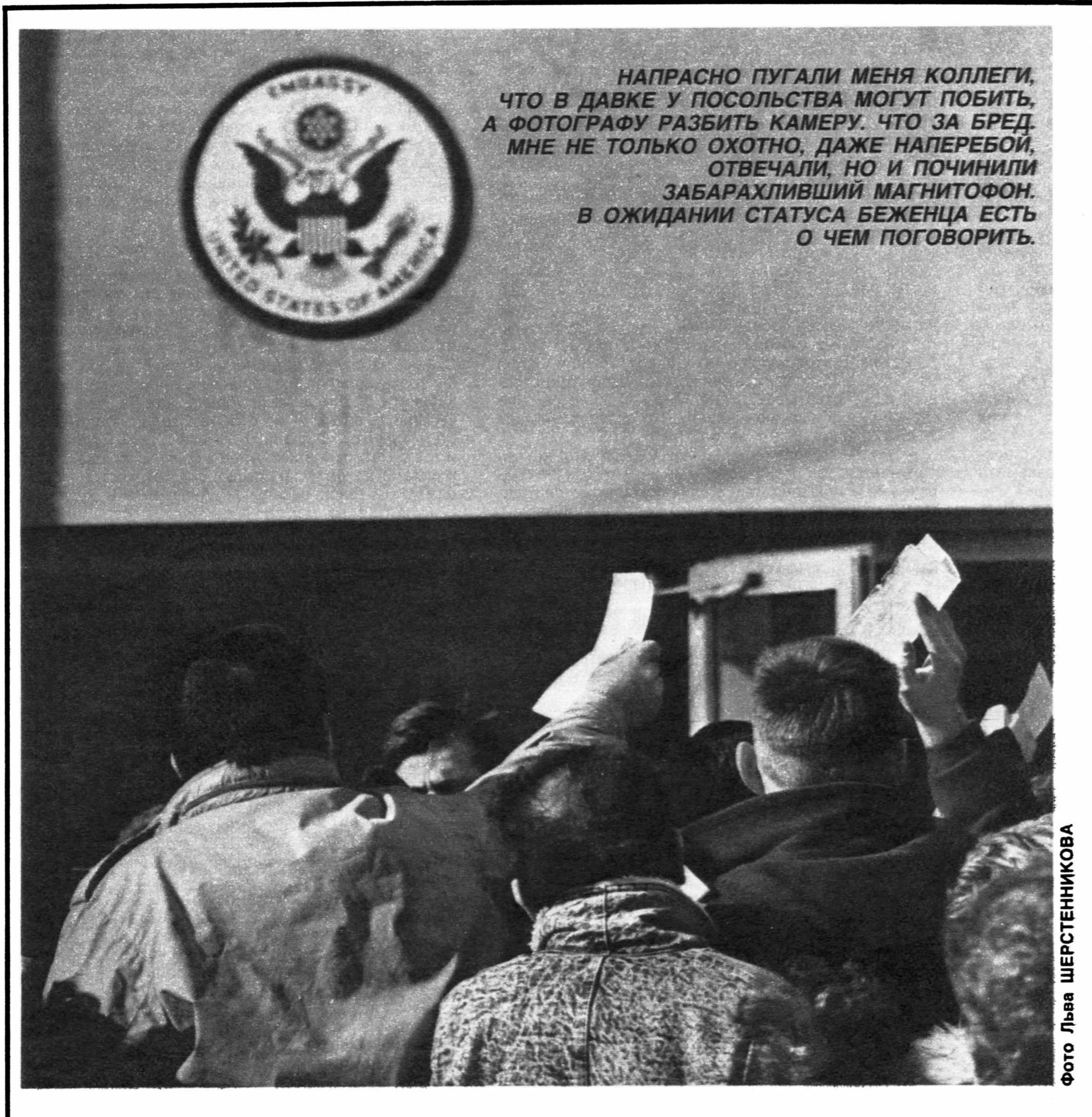


Фото Льва ШЕРСТЕННИКОВА

А Я ОСТАЮСЯ С

Алла БОССАРТ

Уезжая, Юрка подарил мне на прощание хохму с разрешением использовать ее как сюжет: в одном ДЭЗе работали два дворника — Шарипов и Шапиро. Сюжет я пока не использовала, а по Юрке, бывшем инженере и артисте, перед отъездом работавшем как раз именно в ДЭЗе, мы все всплакнули. Как плакали на проводах уже не раз — и на второй волне, и на третьей.

Теперь он пишет нам из Италии, как за полторы сотни тыщ лир кроет крышу сарая битумом и лопает бесплатные лимоны, и манифестирует у американского посольства. А Саша звонит из Израиля. А Инна, Боря, Сережа, Рита — из Бостона. А Вадик — из Флориды. Письма их детальны и веселы, а голоса то ли грустны, то ли просто очень близки.

До сих пор по старой памяти наши друзья спрашивают у нас, не возражаем ли мы против переписки. До сих пор задолго до отъезда увольняются с работы и с кандидатскими степенями, с университетским образованием идут работать лифтерами, дворниками, ремонтниками, шоферами. И аккуратно, как на работу, приезжают по утрам отмечаться на улицу Чайковского к выкрашенному охрой дому, с фасада которого щурится на них высокомерная птица. Орленок, орленок, бодро пело радио, взлети, говорит, выше солнца и землю с высот огляди. Что ж так неласково глядит орел на орлят, или признать не хочет, или с местами в обширном гнезде напряженно стало? А ты, Родина, бедная моя держава, что не восплачешь над своим позором, как над пепелищем, или не зовут тебя дети на проводы?

Мы выросли на мифах. Теперь, когда они в одночасье рассыпались, в природе образовалась пустота, которой она не терпит. И взамен официальных мы стали сочинять свои, неофициальные. Главным, бесконечно притягательным из них стало поверье о заграничном счастье.

Эшелоны Золушек валят на бал. Набирает силу эмиграция. В последних числах сентября, когда я сиротливо слонялась в толпе у посольства США, не постигая страстей очереди, записи, получения и сдачи анкет, — при мне список на выдачу анкет перевалил за тринадцать тысяч.

Нас не баловали разнообразием формулировок. Наш патриотизм воспитывали от противного, а «противным» были отщепенцы. Тринадцать тысяч отщепенцев? Нет, гораздо, гораздо больше. А те, кто уже сдал анкеты и получил визы, а те, кто уже уехал, а те, что толпятся не у американского посольства, а у посольства ФРГ, Голландии, Греции, Австралии? Сотни тысяч отщепенцев — можно ли считать такое сочетание нормой русского языка? Наверное, можно. Русский язык гибок. Терпел же он такую норму, как «миллионы врагов народа». Это мой язык. И это мой народ, послушно владеющий своим терпеливым языком, путы которого так тяжело рвать.

Те, кто переезжал с квартиры на квартиру, знают, какого напряжения требует такой переезд. И как тянет к старому дому. Мне приходится почти каждый день ездить по родной улице, где прожила тридцать лет, и я никак не избавлюсь от тоски и щемящего чувства потери. Да, голый двор с угольными кучами, да, грохот и выхлопные газы, да, сварливая соседка и протекающий потолок. Но выхлопные газы отечества, но протекающий потолок отчизны, но угольные кучи в убогом дворе родины. Ни для кого слова эти не бывают пустыми. А что такое сам отъезд? Не только отсечение всего быта, всех вещей, к которым ты привязан. Не только отсечение людей, которых ты любишь. Это месяцы в очередях за анкетами, визами, паспортами, билетами. Это унизительная процедура собеседования в ОВИРе и в посольстве. Это языковой барьер. Это полная неизвестность впереди. Когда сотни тысяч людей, пусть мы условно назвали их отщепенцами, идут на это — начинает шевелиться тревога: неладно в нашем королевстве.

По соседству со мной живет очень уважаемый мною профессор-экономист, человек огромной культуры, знаний. Его семья переживает тяжелый конфликт: дочь с мужем и детьми собралась в Израиль. И вот юродивый знак времени, спрашиваю не ее: «Почему уезжаешь?», а у него: «Почему вы не хотите ехать?» Мне, советскому журналисту, по национальности русской, ни разу (как Пушкин) не бывшей за границей, — объяснимо стремление покинуть родину, равно объяснима и позиция не желающего родину оставлять. Перекошенное сознание или перекошенная жизнь?

— Россия привыкла жить кампаниями. Сейчас кампания отъезда, — сказал опечаленно сосед. — К тому же стало модно говорить, что в этой стране жить страшно. Я немало поездил, и уверяю вас, по вечернему Нью-Йорку с крупной суммой в кармане ходить тоже неуютно. В этой стране мы пережили и 37-й год, и сорок первый, и чудовищный голод сорок шестого... Говорить, что восемьдесят девятый — это пик отчаяния — по меньшей мере, знаете ли, недобросовестно.

Воистину. Как справедливо и то, что волна подхватывает, несет, и спешишь влиться в нее, и боишься не успеть до завершения кампании, ибо походы, мероприятия, акции — натура и природа наша. Я вот только не могу найти слов, чтобы донести эту верную мысль до армянского землячества, которое за полгода сбилось уже возле посольства США.

— Как мы проклинали раньше евреев, которые уезжали! Какие посылали проклятия за то, что они позорят нашу страну! А теперь вот бежим сами, живем у чужих людей, бросаем дома, все бросаем, чтобы спасти жизнь. Вон стоит моя дочь. У меня ничего больше нет. И я не хочу уезжать, это мое горе, моя боль, я шестьдесят лет прожила на одном месте, в одном доме. Но как жить, если моя единственная девочка не может выйти на улицу, мы неделями сидим взаперти, потому что на улице у нас нет защиты. Я ходила в ЦК, и добрый человек мне там говорил: «Не плачь, мать, ты рвешь мне сердце. Не плачь. Пойми, мы ничего не можем сделать». Нас не могут защитить. В домах наших бьют стекла, бьют наших стариков, издеваются над девушками, и нам неоткуда ждать защиты. Мы подъезжали сюда и слышали, как в троллейбусе люди говорят: «Ишь, собрались, паразиты, негодяи, с родины бегут, вот и пусть бегут, как крысы!» Мы с дочкой слушаем и боимся заплакать. Я хотела крикнуть: а вы бы смогли так жить, когда в любую минуту... все, что угодно... Ничего, ничего, Кариночка, я не плачу, ты не бойся. Она боится, что я вслух говорю. Не бойся, почему нельзя, чтобы знали люди про нашу беду...

— Из отпуска я в Баку уже не вернулся. Мне жена позвонила и сказала:

«Лучше не возвращайся». Сейчас она тоже ко мне приехала. Снимаем квартиру под Москвой, живем, по существу, нелегально. Уже несколько школ меня брали (я педагог, физика и математика) — но только с пропиской. А прописку кто даст? Я уезжаю, потому что не вижу выхода. Куда ни сунусь в Москве — не берут, даже на овощную базу. Есть, говорят, указание беженцев не брать. Речь, видимо, идет в основном о бакинцах.

— Нет, раньше в Баку никаких национальных конфликтов не было. Русские, евреи, армяне, азербайджанцы, грузины — все жили мирно. А в последнее время стало невозможно появляться на улицах: «Убирайся своя Россия, убирайся своя Армения!» И ты не можешь ни слова сказать.

— И нет никакой защиты. Здесь в Москве говорят: нет беженцев, мы не знаем никаких беженцев. Куда нам деваться? Кроме жены, русской, никто из нас не может выйти на улицу... Меня схватили в трамвае, разбили окна у нас дома, каждую ночь звонки по телефону: что вы засиделись здесь? Я на нефтепромыслах с 50-го года... Мы бежали ночью шестого сентября. К нам пришел сосед, азербайджанец, благородный человек, мой друг. Он сказал: «Я тебя защитить не могу, завтра будет плохо. Уезжай». Все бросили и улетели утренним рейсом.

— Здесь есть и азербайджанцы из смешанных семей. Не видели? Вон он, наш товарищ, брат. Азербайджанец, у него жена армянка. Таких много. Они не угодны ни в Армении, ни в Азербайджане.

— И ни в России. Где гарантия, что завтра не начнется ответное движение со стороны русских? Сейчас их гонят из республик, сколько же они могут терпеть?

— А вот мне куда деваться? Я русский, жена еврейка. Вся семья — строители. Там нас принимают за армян, я, видите, на русского мало похож, черный. И здесь мы тоже вроде чужие...

— Бывали случаи, когда азербайджанец не успевал показать паспорт — его избивали, потому что похож на армянина.

— Хуже всего интеллигенции — не только армянской, но и азербайджанской. Азербайджанские интеллигенты тоже многие уезжают. Работать стало не с кем.

— Нашего директора завода за жабры взяли: работать не дадим, пока всех армян не уволишь.

— Только учтите, с чего все началось: многих азербайджанцев начали гнать из Армении. Это организованная акция с двух сторон.

— Я думаю, что национальные распри безусловно выгодны каким-то силам — чтобы отвлечь внимание народа...

Они спешили высказаться, как та пожилая бакинка, они хватались за микрофон, как за соломинку, словно ожидая помощи даже от него. Поэтому считаю своим долгом обнародовать хотя бы малую толику исповедей измученных людей, единственное, что лично могу для них сделать. «Чтобы люди знали про их беду...» Отвергнутые отчим домом, ожесточенные, оскорбленные, беззащитные, они говорят порой и несправедливые вещи — и было бы странно, если бы не говорили. Потеряв опору на родине и не найдя ее в Москве, они почувствовали себя отщепенцами и решились на шаг, о котором не помышляли, живя у себя дома. Инженеры, ученые, учителя, художники, рабочие, архитекторы, строители, врачи, с детьми, со стариками — беженцы. Беженцы из страны, где, как принято считать, полным ходом идет демократизация, где так интересно стало жить и вольно дышать...

— Не страшно вам ехать? — спрашивала я бакинцев.

— Хуже не будет, — отвечали они. — Здесь те, кто перешагнул через страх. Оставаться страшнее.

Что с нами, соотечественники? Еще недавно в наших домах поселялись беженцы с зараженной украинской земли, армянские семьи, оставшиеся без крова после землетрясения; еще недавно мы понимали и разделяли горе соседа. А теперь — тут же, на этой же самой площадке за посольством ко мне подходит такой же отъезжающий, томящийся в той же очереди, что и несчастные бакинцы, — и тихо сообщает: «Я не верю тому, что они тут говорили. А вы? Нет, не могу поверить. Этого быть не может. Вы знаете, все мы ищем себе оправдание...» И еще он сказал: «Посмотрите, разве это очередь бедствующих? Разве мы похожи на беженцев?»

Да, мы не похожи на беженцев. Мы неплохо одеты, и многие из нас вовсе никуда не едут, живут спокойно дома и ни в каких очередях не отмечаются. Но все мы немножко похожи на беженцев, потому что наша жизнь лишена естественных связей. Может быть, страна моя слишком широка, и расстояния деформируют братские и даже соседские узы. Естественные движения души подменяются директивными кампаниями, в ряду которых и милосердие. Пока еще нет оформленного эмиграционного потока беженцев — жертв Чернобыльской катастрофы (я думаю, благодаря тому, что основной радиационный удар пришелся на сельское население, более консервативное, традиционное по своему характеру). Но, не дай бог, прокатись такая волна, не поручусь, что прохожие попроще не плюнут ей вслед, припечатав «крысами с корабля», а наблюдатели поинтеллигентней не отметят: «Все мы ищем себе оправдание».

Правда, связь крестьян с почвой, как и связь высшего среза интеллигенции с культурой сильны настолько, что одни предпочитают отравленную, но родную землю здоровой, но чужой, а другие между эмиграцией и ссылкой выбирают ссылку, домашний арест, гражданскую казнь. Мой сосед-профессор отослал меня к письму Чаадаева, где Запад признается нормальным и способным для жизни человека в отличие от России, где возможно лишь уродливое, извращенное, несообразное с человеческими надобностями существование.

— Нет нужды доказывать, — улыбнулся он. — Это очевидно. И поэтому те, кто хочет жить лучше, безусловно правы, что уезжают. Ни одной секунды их не осуждаю. Желание жить хорошо — это человеческое, нормальное и даже почтенное желание. Но я думаю, все свое мы несем с собой. Многие ошибочно переносят свои проблемы вовне и думают решать их там. Это иллюзии. Мы сформированы этой жизнью. Поэтому мне нужна именно она. И я нужен здесь. Убегать от проблемы — не лучший способ ее решения. Вы-то ведь тоже остаетесь.

Остаюсь. Остаюсь, хотя не проходит дня, чтобы не проклинала убогую, нищую, унизительную жизнь, где достоинство — это малопонятная категория, право на которую ты должен к тому же ежечасно отвоевывать. Так чего же остаюсь? Наврала бы, сказав, что не задавалась этим вопросом. Но только после разговора с ученым соседом решилась признаться себе, что не язык, и не любовь, и не инертность держат меня на неласковой моей родине. А именно и только то самое: я сформирована этой жизнью. Это моя проблема, а не проблема Горбачева, и от нее не убежать. Бал-то гремит, но вспомним, где мы-то, Золушки, обучались танцам...

Тот парень, что не поверил рассказам бакинских армян, не поверил им,— сформирован этой жизнью. Женщины в толпе у посольства, которые делятся маленькими хитростями: «На собеседование надо идти с детьми. Очень важно, чтобы дети понравились», — сформированы этой жизнью. Девица, которая в письме на родину на чем свет стоит кроет приютивших ее «тупых» итальянцев, — сформирована этой жизнью.

И очередь за анкетами или к консулу точь-в-точь похожа на очередь за стиральным порошком или колбасой. С той разницей, что тетки не орут дурными голосами: «Вы тут не стояли!» Для этого есть «сотники» и «тысячники», которые наводят порядок соответственно в своей сотне или тысяче. Хотя, впрочем, один одессит прикрикнул на меня: «Что вы, дама, тут все третесь, я вас не знаю?!» И велел не создавать толкучки: «Вчера-таки отменили прием из-за того, что по очереди гуляет полно лишних жлобов».

Российские очереди, российская недобросовестность, как и российская культура, властное русское слово (заменившее, по меткому замечанию Льва Аннинского, собою все: демократию, закон, воспитание, хлеб), как и поднявшаяся на дыбы российская современность — лепят уникальный советский характер, который разносит по миру проекцию своей родины полным набором дурных и прекрасных элементов. Наше генетическое сходство с матерью-отчизной красноречиво и однозначно как советский паспорт. Она никогда не жалела о своих детях, не только о блудных. От скольких уже отреклась. Скольких изгнала. Скольких принесла в жертву. Кто же виноват, что со временем и дети научились отрекаться от матери?

— Когда находишь в своем почтовом ящике записку: «Убирайтесь в свой Израиль!» — не так-то легко это скушать. Я военный летчик, защищал Москву и прожил в ней всю свою жизнь, здесь родился и хотел бы здесь умереть. Но когда фашиствующая пацанва безнаказанно угрожает мне, — нет гарантий, что так же безнаказанно эта сволочь не расправится со мной физически: они чувствуют себя хозяевами, а я чувствую себя, извините, евреем, и на старости лет обнаружил, что это, оказывается, не самое приятное чувство. Для нашего поколения разгул «Памяти» символичен. Вот потому я хочу уехать.

А я остаюся с тобою, родная моя сторона, будь спокойна. Я не бакинский армянин, не еврей, хотя фамилия в глазах «Памяти» и подкачала, и не турок-месхетинец. И живу я в отдельной квартире в Москве, с приятным радиационным фоном, а не в Припяти и не в Народичах. А то, что зарплата у меня 95 рублей, и я никогда не буду президентом и даже главным редактором,— еще не повод бежать со двора, тем более, и двор-то не так уж плох. В одном ДЭЗе работают и Шарипов и Шапиро — красота, решительно никакой розни! А уколы, кстати, можно и вообще не делать. А то оставайтесь, ребята, может, еще не вечер?

ТОБОЮ...

Борис СМИРНОВ
Фото Анатолия БОЧИНИНА

Мы едем по московскому Садовому кольцу в «мерседесе» канареечно-желтого цвета. За рулем — старший инспектор 10-го отделения ГАИ капитан Миронов. Отсюда, из-за окон машины, Москва видится как-то иначе — конечно, та Москва, которая живет на колесах. А это ведь тоже целый город, только движущийся,— со своим населением, своими правилами и проблемами... И до чего же он у нас бестолков, хамоват и нервозен!

Вот прямо на наших глазах от магазина «Людмила» стартуют «Жигули-«шестерка» и резко, по крутой дуге пересекают широкое дорожное полотно справа налево. «Мерседес», как ракета, в два приема догоняет нарушителя.

Сам он, «супермен» лет сорока, небрежно откинувшись на сиденье, с улыбкой смотрит на автоинспектора. Да, нарушил. Спешил, дорогой, извини... Смяв десятирублевую квитанцию штрафа, ткнул ее куда-то в пепельницу, дернул рычаг — и «шестерка», рванувшись, исчезла из виду.

— А что я могу с ним сделать? — рассуждает Миронов.— Ехать за ним следом и штрафовать через каждый километр? Уверен, что он опять сейчас где-то что-то нарушает. Это их манера, стиль езды. Таких сейчас много стало, тех, кто старается показать, что общие правила не для них.

Завизжал радиотелефон под приборным щитком. Владимир снял трубку, повернулся: «Авария на Марксистской, тяжелая. Едем?» Мы миновали в это время тоннель на площади Маяковского. Минуты не прошло — мы уже напрямую пересекаем площадь у Манежа... Да, если бы вот так по Москве ездить! А этому

«мерседесу», между прочим, уже одиннадцать лет, и таких машин у московской милиции — всего несколько штук.

...Марксистская улица. На осевой линии в крошеве битого стекла валяется мотоцикл, рядом — останки «Запорожца». Прижатый креслами к приборному щитку, застыл в машине водитель — помощь ему уже не нужна. А водитель мотоцикла вот здесь, в реанимационном фургоне: ясно, что там сейчас колеблется в руках врачей грань его жизни и смерти. И все из-за того, что водитель «Запорожца» решил сэкономить метров сто и внезапно свернул в «свой» переулок прямо через центр дороги, через запретительную белую «осевую». А сзади несся мотоцикл... Что заставило, какая нечистая толкнула водителя «Запорожца» сделать роковой поворот? Ведь знал же, видел... Думал: авось пронесет? Я, мол, всегда так езжу! Ничего, пропустят, не баре!

На этот раз не пронесло.

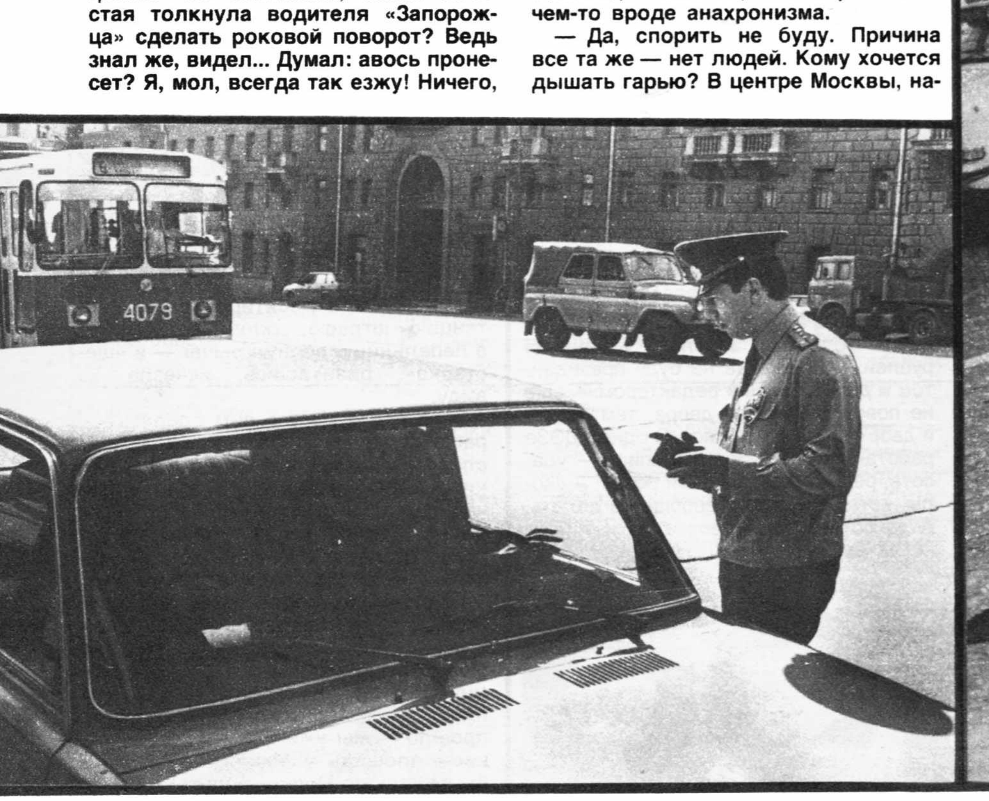
— А знаете, на мотоцикле был наш сотрудник, из ГАИ,— сообщил Миронов, когда мы снова влились в уличный поток.

— Да, не повезло... А часто у вас такое случается?

— Бывает. С ним, кстати, дважды — его в прошлом году рокер сбил... У меня однажды крыло «снесли»...

— Скажите, а почему теперь не увидишь постового на перекрестке? Если он и есть, то стоит где-то сбоку или сидит в будке, а ведь светофор и без него на автоматике работает! На улицах пробка, машины друг на друга лезут, да мало ли что бывает, когда регулировщик нужен, но это понятие, кажется, вообще стало чем-то вроде анахронизма.

— Да, спорить не буду. Причина все та же — нет людей. Кому хочется дышать гарью? В центре Москвы, на-



пример, уже просто невозможно обойтись без противогаза...

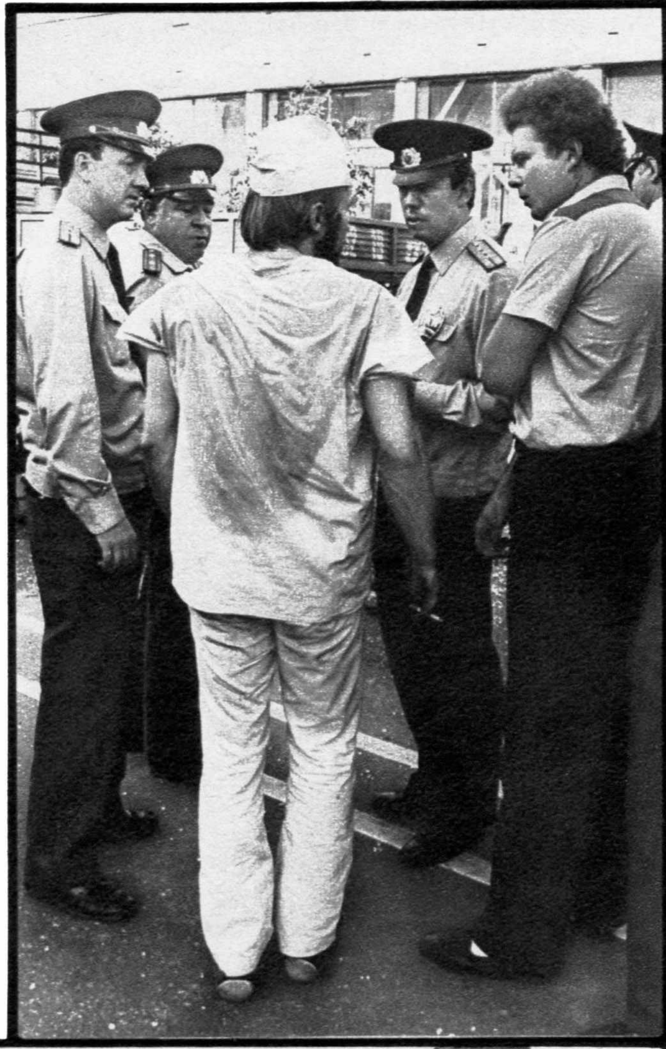
— Хорошо, давайте поговорим о светофорах: где разрекламированная система «Старт», где «зеленые волны» на магистралях? Центр Москвы справляется с потоком транспорта явно уже на пределе, а часто уже не справляется: на Садовое кольцо, например, в часы пик лучше не соваться... Схема движения в городе похожа на лабиринт; сколько горючего сгорает из-за поисков разворотов, поворотов, стоянок, объездов! А что будет, если прибавится машин,— Москва вообще станет сплошной «пробкой»?

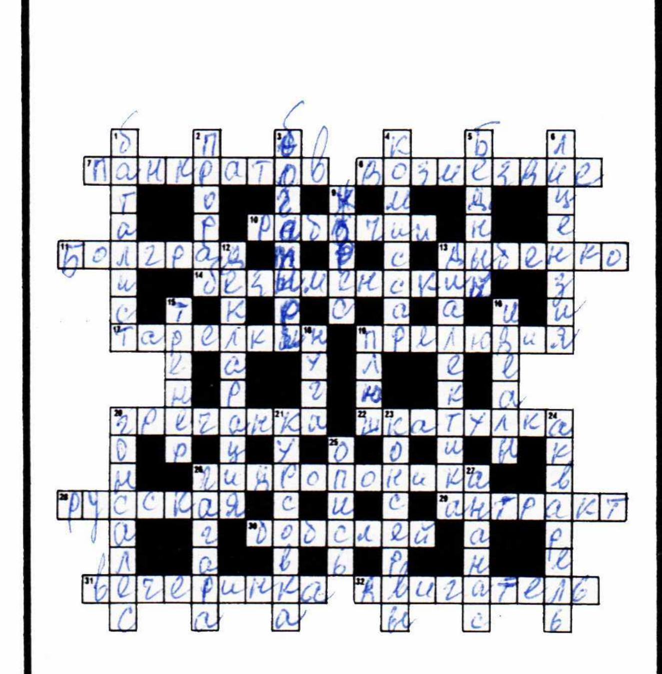
— Сдаюсь! — шутливо поднял руки Владимир (мы как раз застряли в одном из заторов).— На это нечего сказать не только мне, но и, похоже, нашему министру. Я слышал, что разрабатывается новая схема комплексного развития транспорта, но подробностей не знаю. Кто же будет спорить, что организация движения у нас несовершенна?

— А кто и когда будет ее совершенствовать?

— Я так думаю,— серьезно говорил Миронов,— что без новых тоннелей, эстакад, короче, без серьезных инженерных сооружений ничего изменить уже нельзя. Не я один, конечно, так считаю. Упустили время, а теперь...

Боюсь, прав автоинспектор Миронов, что на эти вопросы не ответит сейчас даже сам министр. Ясное дело — не до этого... Но отвечать, а главное, делать что-то придется.





ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Комсомольский секретарь в романе Н. А. Островского «Как закалялась сталь». 8. Поэма А. А. Блока. 10. Одно из названий газеты «Правда» накануне Октябрьской революции. 11. Город в Одесской области. 13. Матрос, председатель Центробалта в 1917 году. 14. Поэт, автор слов песни «Молодая гвардия». 17. Один из героев сатирической пьесы А. В. Сухово-Кобылина. 19. Вступление к музыкальному произведению. 20. Представительница основного населения государства на Балканском полуострове. 22. Ящичек для хранения мелких вещей. 26. Выращивание растений без почвы. 28. Народная пляска. 29. Перерыв между действиями спектакля. 30. Вид спорта, скоростной спуск на управляемых санях. 31. Собрание для дружеской встречи, развлечений. 32. Машина, преобразующая энергию в механическую работу.

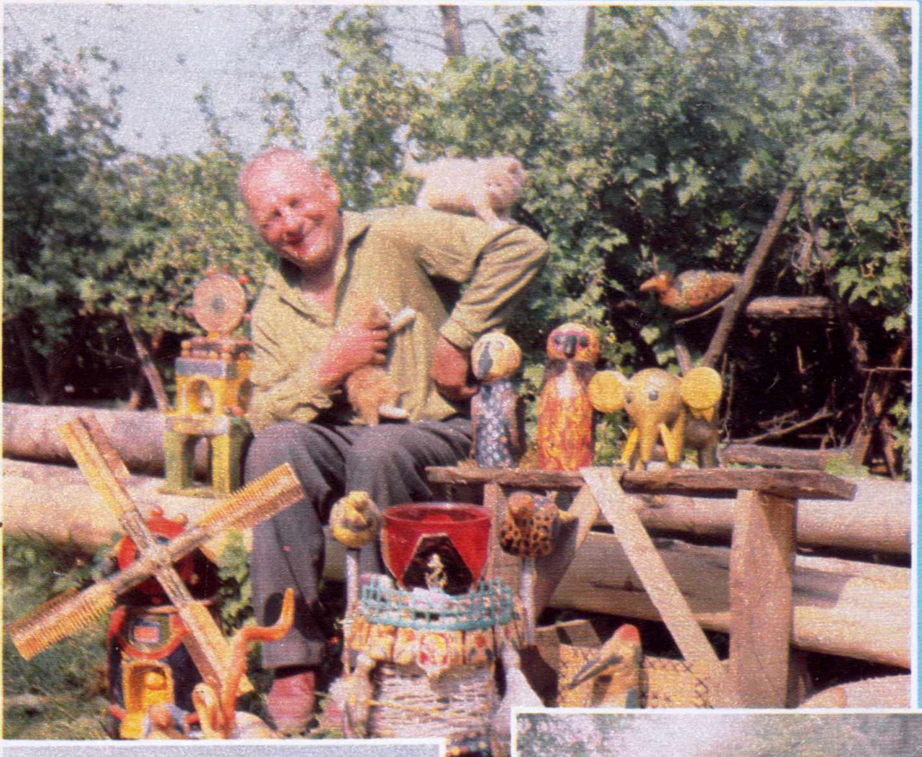
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Художник, рисующий на военные темы. 2. Непосредственный руководитель на постройке. 3. Картина В. М. Васнецова. 4. Политический руководитель воинской части в Красной Армии. 5. Поэт, автор слов песни «Проводы». 6. Разрешение на ввоз или вывоз товаров. 9. Стихотворение В. В. Маяковского. 12. Официальное заявление, провозглашающее основные принципы политики государства. 13. Теория и метод познания явлений действительности. 15. Преподаватель физической культуры. 16. Симфоническая поэма Ф. Листа. 18. Кондитерское изделие из орехов. 19. Шерстяная или шелковая ткань с ворсом. 20. Кубинский график и живописец. 21. Документ на право лечения и питания на курорте. 23. Специально обработанные для хранения пищевые продукты. 24. Краски, разводимые в воде. 25. Перечень предметов, документов. 26. Северная водоплавающая птица. 27. Плод тропического растения.

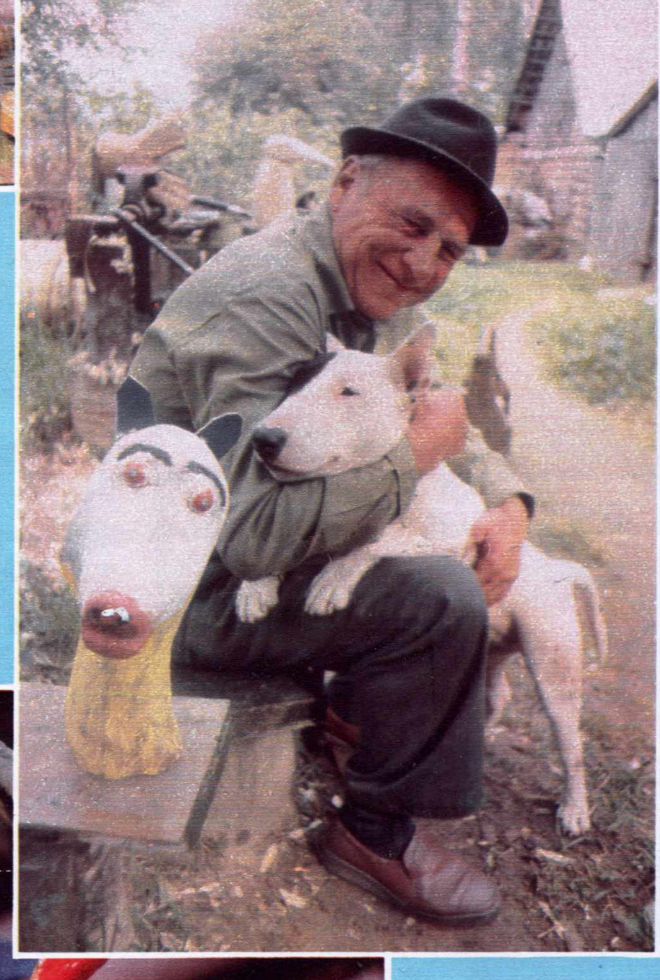
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 43

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кова. 3. Сфинкс. 5. Лача. 7. Борисоглебск. 9. Овен. 10. Тога. 11. Мармелад. 15. Кумач. 16. Зуев. 17. Книга. 18. Латук. 19. Рейн. 20. Идеал. 22. Винтовка. 25. Дева. 27. Бизе. 28. Антропология. 29. Рота. 30. Катран. 31. Азов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колонок. 2. Афон. 3. Спица. 4. Смета. 5. Лист. 6. «Ариадна». 7. Бессмертнова. 8. Консистенция. 11. Мечников. 12. Розмарин. 13. Лавренев. 14. Доктрина. 18. Лендлер. 21. Лебедев. 23. «Игрок». 24. Клоун. 26. Анна. 27. Бива.

КОТ-МЕЛЬНИК ИЗ ТАТИЩЕВА





В один из редких погожих дней капризного лета я сошел с автобуса в псковской деревеньке Татищево.

Дома были добротные, строгие и серьезные, будто озабоченные собственным достатком. И только один — бордового цвета, по стенам которого порхали деревянные птицы, росли грибы и ягоды, озорно улыбался и как бы подмигивал мне из ровного ряда своих собратьев. Зачарованный, я остановился перед ним и сразу догадался: это он.

Хозяин появился из-за печи с косой и бруском.

— Да вы садитесь,— предложил он, указал на скамью. И тоже сел, положив на колени огромные руки.

Я с любопытством осматривал избу. В ней не было ни полированного шифоньера, ни ковров, ни телевизора — всего того, чем характерен современный крестьянский быт. Все было простое, деревенское. Зато у окна стояла самодельная пепельница, сооружение из капа-корня на четырех резных ногах, под потолком качалась диковинная птица, на полу лежали разноцветные, искусно связанные половики.

— Половики жена вязала? — спросил я.

— Зачем жена? — отозвался Дмитриев.— Сам и вязал. Я все умею, что в голову придет, то и сделаю.

— А ваши слоны, пингвины, белые медведи? — напомнил я.— Их-то вы где видели? Ведь таких даже в зоопарке нет.

— Я в зоопарке не был,— сообщил мастер.— Я из Татищева, как мальцом сюда привезли, почитай, никуда не выезжал.

— А хотите, сыграю? — неожиданно предложил Василий Дмитриевич и, не дожидаясь согласия, взял из-под стола «хромку», казавшуюся в его руках игрушечной. Приладил ремень на плечо, объявил: «Страдание!» Зацепенел лицом. И, отвернувшись от меня, заиграл. Внезапно оборвал мелодию, крикнул: «Семеновна!» Желваки в такт музыке ходили у него под скулами.

Внезапно перешел на мелодию Антонова «Под крышей дома твоего» и сообщил:

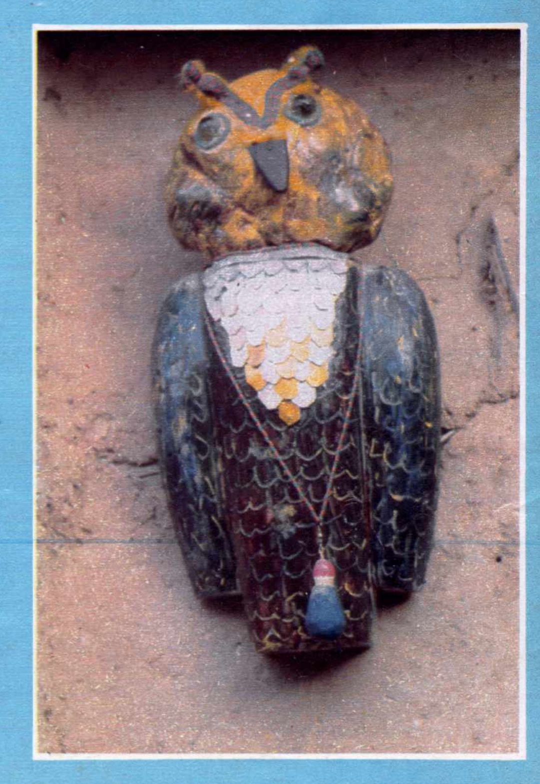
— Куплеты сочиняю...

...Он и фотографировался так, как все делал в этой жизни,— шумно и радостно, и Саша, со счастливой улыбкой прижавшись к мужу, быть может, вспоминала в этот момент, что когда-то пошла за ним, не оглянувшись.

...Через полчаса Дмитриев запрягал лошадь в телегу, чтобы ехать за сеном. Саша вынесла из дома чудо-мельницу и подала ее мне.

— Берите, раз понравилась,— добродушно усмехнулся Дмитриев, глядя на мое изумленное лицо.— Я зимой еще сделаю да заодно кота научу работать.

Леонид ЛЕРНЕР



40 коп.
Индекс 70663